

Поэль Карп

Кроме страха

1945 – 1952

Петербург

Поэль Карп

Кроме страха

1945 – 1952

Петербург

2013

УДК 82.14=161.1
ББК 84Р1-5
К26

Поэль Карп.
Кроме страха. Стихотворения. – СПб., 2013. – 196 с.

ISBN 978-5-98709-663-5

© Поэль Карп, 2013

На ночь глядя

1945 - 1946

Как я ни бойко иду
избранной с горя дорогой,
все же в Нескучном саду
нынче продрог с недотрогой.

Можно забиться в подъезд,
сгорбиться, спрятаться, скрыться,
да ведь и выдаст и съест
щедрая наша столица.

Что бы ни стало со мной,
глупо разменивать злобу,
чтобы от встречи ночной
вечно знобило зазнобу.

Проще поднять воротник,
шляпу натянуть поглубже
и зашагать напрямик,
даром что слякоть и лужи.

Люблю, если так нам с тобой довелось,
и если хотели мы этого сами,
и если восторги чреватые слезами,
и если на мне ты сорвешь свою злость.
Но вряд ли мы этим себя сбережем,
хоть ты поначалу ничуть не хотела
ни кражи со взломом, ни мокрого дела,
ни самоубийства садовым ножом.

Дух ликующей весны
с неизменной силой
вызволяет наши сны
от зимы унылой.

Люди смотрят веселей,
радуются слухам,
и несется с тополей
счастье белым пухом.

Только ты не ждешь добра,
счастья или чуда,
и слоняться до утра
боязно покуда.

Ты открыть робела дверь,
полная сомнений,
а попробуй не поверь
одури весенней.

Живу в захолустье, в бескрайней глуши,
откуда и шлю эти строки.
Но лучше ты мне ничего не пиши,
чем вечные эти попреки.

На свете есть люди помимо меня,
и цели достигнет искомой
кому-то приятель, кому-то родня,
кому-то хороший знакомый.

А я уже знаю, что разум погас,
и много чего мне известно,
и в том, что свершается здесь и сейчас,
сыскать я не пробую место.

В зрачки зеленых глаз твоих
я не гляжу в упор,
скуластых и неласковых
робею до сих пор.

Мы с ними долго спорили,
тянули до конца,
но счастья нет, и горя нет,
и нет на мне лица.

Ты молитву едва нашептала,
Богоматерь узнала едва.
Ты и в церкви еще не бывала
и стоишь ни жива, ни мертва.

И как твой прихожанин незванный,
я гляжу на чужую парчу,
пробегая по Старой Басманной,
величанье тебе бормочу.

И к какому бы новому чуду
нам пути не указывал бог,
я молиться по-прежнему буду,
чтобы только тебя уберег.

Позабуду все на свете,
твой прощальный, горький зов
и в ушах звеневший ветер
пролетающих поездов.

Но когда ты на чужбине
наведешь на сердце нож,
буду легок на помине,
если только помянешь.

Не разберу, какая сила
нам взяться за руки велела,
когда меня ты подхватила
и я поддался оробело,

и по просторному бульвару
мы шли все глуше и все тише,
и принимали нас за пару,
друг другу даденную свыше.

На легкий дождик не в обиде,
мы не хотели торопиться,
а хмурый Гоголь на граните
не замечал, что рдеют лица.

Пошли мы вкось от поворота,
продлить стараясь расстояние, -
как будто выпустил нас кто-то
треглавым псам на посмеянье.

Мы перешли через дорогу,
сплотясь в неведомое братство,
хоть понимали понемногу,
что вроде время расставаться,

и все равно не в силах были
поднять глаза перед рассветом,
вздыхнуть: «Как долго мы бродили!»
и успокоиться на этом.

Концерт Обуховой. На улице темно,
и только свету, что в окне квадратном.
Зима кончается, и как заведено,
сползает снег, сдаваясь черным пятнам.

И только тот, кто знал безмолвие зимы
и скорбные слова старинного ромansa,
поймет когда-нибудь, как понимали мы,
когда гортанный звук внезапно вырывался.

Глотая люминал
 бессонными ночами,
ты вдруг припоминал
 забытое вначале,
и никла синева
 под утро на панели,
и давние слова
 от времени темнели.

Ты поздно засыпал,
 и, - ну, скажи на милость,-
нелепая судьба
 вдруг сызнова приснилась,
ты, вытянувшись всласть,
 увидел, засыпая,
как нищенка плелась,
 разутая, слепая.

Припомнилось тогда,
 что и на самом деле
была она горда
 еще на той неделе,
что кланялась едва
 она тогда знакомым...
И темные слова
 вставали в горле комом.

Коли хочешь, будь пророком, -
истолкуют вкривь и вкось.
Но солдаты ненароком
повернут земную ось.

Не пророчу и не внемлю,
быть ли этому концом,
а уткнусь в сырую землю
окровавленным лицом.

Спать, и спать, и спать...
Только бы прилечь...
Ежели изба,
заберусь на печь...

Наших-то ребят
приняли бы пусть!
А не приютят –
на пол повалюсь.

Если бы горел
где-нибудь омет,
лег бы на дворе,
прямо бы на лед.

Что там толковать,
где тут говорить,
только голова,
кажется, горит.

Только бы одно:
чья-нибудь изба!
Падаю на дно...
Спать, и спать, и спа...

Когда разбитые сердца,
не ведая причала,
дойдут от самого конца
до самого начала,
я попытаюсь как-нибудь
сдержать свой выплеск ранний.
Всего тут лучше славный путь
чужих воспоминаний.

Потом в беспамятстве, в бреду
и в умоисступленье
я разревусь, и упаду
и встану на колени.
Но ты увидишь лишь печать
художественной прозы
и не захочешь отвечать
на праздные вопросы.

Мне подарили книгу в переводе поэта, испытавшего соблазны слепой судьбы, которая не знала, что и до этого еще дойдет.

Мне подарили книгу в переводе поэта, что давно уже в летах, почти что старика, который помнит другое время и другую жизнь.

За щедрый дар благодаря хозяев старинного приветливого дома, я попрощался, и надел калоши, и книгу взял, и вышел на Тверскую, и цельнометаллический троллейбус решил меня везти невесть куда.

Я полистал знакомые страницы, где датский принц в любви поклялся деве и клятву взял обратно, - как известно, необходимость исполнения долга высокой мести привела к тому.

А в это время старикан-кондуктор качался, объявляя остановки: Васильевский! Грузины! Белорусский!, и женщина в плаще из целофана вошла и села около меня.

А в это время умерла другая, сошла с ума и сорок тысяч братьев и вся любовь их не могли вернуть ей ровного, спокойного дыханья, свободного от принцессы любви.

А женщина в плаще из целофана, быть может, комедийная актриса, а может секретарша комитета по изысканию цветных металлов, а может быть, сотрудница детдома

для трудновоспитуемых детей,
лениво закатав свою перчатку,
достала два двугривенных и деньги
кондуктору просила передать.
И я не понял почему я, сидя
в углу, вдали от столбовой дороги,
которой по троллейбусу проходят
билеты, деньги и абонементы,
мог оказать подобную услугу.

А датский принц, тем временем, в могилу
любимой женщины мгновенно спрыгнул,
забыв о долге мести, о планете,
устроенной, по нашему суждению,
совсем не так, как ей бы надлежало,
равно как и о том, что наша жизнь
нерасторжимо скована с другими
случайной связью, неразрывной связью,
корней которой нам не отыскать.
Ничуть он не жалел о том, что было,
о клятвах данных и о клятвах взятых
обратно, потому что оставалась
одна любовь, которая побольше
нелепой жизни, и нескладной смерти
и рассужденья «Быть или не быть?»

А женщина в плаще из целофана,
пришедшая неведомо откуда,
взяла билет и, может быть, невольно
еще коснулась моего колена
своим плащом, но я не поднял глаз.
Я миг спустя про это позабуду,
когда она помотрит мне в глаза,
и улыбнется, и пожмет плечами
и спросит: «Что читаете вы, принц?»

Безысходная тоска
человека средних лет –
это мутная река
без особенных примет,
лишь бы выйти поутру
на рождественский базар
и, едва глаза протру,
верить собственным глазам.
А когда сотрет печаль
выражение лица,
это слезы по ночам,
это слезы без конца,
это слезы без числа,
и звонят колокола.
Это молодость прошла.
Это жизнь моя была.

Никто не скажет ничего,
не спросит ни о чем,
не перевяжет бичевой,
не скрепит сургучом,

и ни чужие, ни родня,
ни друг, ни даже враг
не разберут после меня
оставшихся бумаг.

А я уйду, да так уйду,
что ты и не найдешь,
хоть все, что было на виду,
потацишь на правож.

А я уйду, закрыв глаза,
и не вернусь назад,
десятой доли не сказав
того, что мог сказать.

Если теплятся огни,
если светят фонари,
милый друг, повremени,
ничего не говори,
не пугай чужих детей,
не ходи по мостовой,
а в один прекрасный день
мы увидимся с тобой.

Мы сойдемся невзначай,
разойдемся по углам,
черствый хлеб и слабый чай
мы поделим пополам.
Если теплятся огни,
если светят фонари,
милый друг, повremени,
ничего не говори.

Мы с тобой разгоним грусть,
мы разгоним духоту,
а потом я поднимусь,
попрощаюсь и пойду.
Ты дотянешь до седин,
ты не скажешь никому,
ты не в комнате один,
ты один во всем дому.
Ты не думай, не гадай
днем и ночью об одном, -
за окном собачий лай,
бормотанье за окном.

Если теплятся огни,
если светят фонари,
милый друг, повremени,
ничего не говори,
не пугай чужих детей,
не ходи по мостовой,
а в один прекрасный день
мы увидимся с тобой.

Не проведали заранее,
не успели, как на грех,
а глядишь – несутся сани,
разрезая белый снег.

Пристяжная околела,
коренную берегу,
лошадь вязнет по колени
в мокром слипшемся снегу.

Сани мчатся по дороге,
глаз от них не оторвать,
хоть и мы протянем ноги,
хоть и нам не сдобровать.

Пролетают дни
грозным дождем,
мы сидим одни,
никого не ждем,

и течет река
потускневших лет
до тех пор, пока
не погаснет свет.

Но глаза в глаза,
и к лицу лицом,
и пройдет гроза,
как тяжелый сон,

поведет листвою,
изойдет дождем...
Только мы с тобой
ничего не ждем.

Коль скоро лютая зима
не перестанет выть и злиться,
я, кажется, сойду с ума
и стану притчей во языцах.

И поддаваясь палачу
едва понятного былого,
как приказали, промолчу,
но не скажу худого слова.

И неперемный фаворит,
я, наконец, набью оскому,
не научившись говорить
на языке давно знакомом.

Я не ищу ни друга, ни врага,
мне жизнь моя ничуть не дорога,
я сам не свой, я пополам расколот,
я все еще в давнопрошедших днях,
а, между тем, в окрестных деревнях
уже весна, бескормица и голод.

Уже идут сосновые гробы,
умершие уходят от судьбы,
старухи на меня глядят все строже
за то, что с ними сызмала знаком,
а вспоминаю больше о другом:
о скудости земель и бездорожье.

Река вскрывается. Земля еще в снегу.
На противоположном берегу
еще лежит неубранное тело,
еще в груди кривой садовый нож,
еще зима, еще не продохнешь,
еще никто не скажет, в чем тут дело.

Еще мне говорят, что все пройдет,
что надо ждать, покуда схлынет лед
и пронесет расхристанные годы,
когда всевышним числимый злодей
душил простые чаянья людей
бездушием отверженной природы.

Я устал от горьких истин,
мне мой голос ненавистен,
мне наскучило давно
самодельное вино.

Мне порядком надоели
семидневные недели,
и Георгий на коне,
и столетник на окне.

Говорю о захолустье,
о сомнении, о грусти,
а, признаться, всех-то дел,
что открыться не сумел.

Мне бы только без опаски
предавать себя огласке,
и господню благодать
всем и каждому раздать.

Пока троллейбус двухэтажный
по главной улице плывет,
ты, вдохновенный и отважный,
проходишь весело вперед,

и дальше едешь горделиво,
презрев строений этажи,
и нет возвышенной порыва
твоей восторженной души.

Народ выходит у «Динамо»,
так повелось уже давно,
а на тебя течет реклама -
от гастронома до кино.

Фасад стеклянного проекта
поныне за души берет,
как обещал когда-то некто,
хоть вышло все наоборот.

Нам спорить не к чему с судьбиной,
лишь усечем, что в ранний час
от самой площади старинной
троллейбус едет не для нас,

и выезжая на Тверскую
или еще куда-нибудь,
он повседневность городскую
не переделает ничуть.

Так не вернее ли с панели
глядеть на дикость мостовой,
и не считать, что ты у цели,
за столб хватаясь верстовой,

и сном чудесным не гордиться,
и уходить от похвальбы,
а только вглядываться в лица,
как в зеркала своей судьбы.

Хотите – верьте, нет – не верьте,
я не сошел еще с ума,
но слушать оперу в концерте
подчас рискованно весьма.

Смешенье музыки и сцены,
оркестра с выпренной игрой,
и на игру сбивает цены
и оркестровый портит строй.

На сцене пестрая картина,
торчат смычки со всех сторон,
и каватину Валентина
вытягивает баритон,

и в этом царстве канифоли
и лиц, посыпанных мукой,
ты начинаешь поневоле
слегка притоптывать ногой.

Тыходишь в раж, и будешь позже
самозабвенью даже рад,
и променять его не сможешь
на променад и лимонад.

А дирижер, срывая ярость,
уже и палку поломал,
неистовствует третий ярус...
Но я отнюдь не меломан,

и не пленительные звуки
меня влекли в концертный зал,
и не уроки той науки,
что люди гибнут за металл,

а суматошной жизни слепок,
где одичалые миры
дрожат в сплетениях нелепых,
нерасторжимых до поры.

Лишь потому и смертна плоть,
хоть помирать нам неохота,
что наш возлюбленный господь
слегка похож на рифмоплета,

и не исчислить сколько лет
в залог всеобщего движенья
строчит рассеянный поэт
с лицом лишенным выраженья.

В Политехническом музее
он выступает первый раз,
глаза таращат ротозеи,
а мы не прячем влажных глаз,

и поднимаясь на ступени,
и резко двигаясь вперед,
он выделяется из тени,
где жизнь опальная течет.

Пускай зовется это славой,
но ты попристальнее глянь,
запомни голос тот гнусавый
и к небу вздетую гортань,

прочти испуг в случайном взгляде
и вены вздутые на лбу,
не жди, что книги и тетради
способны вычерпать судьбу.

Теперь один он остается
на лобном месте торжества,
где не отличия, а сходства
хотели от него сперва,

теперь ликующие лица
всеобщий празднуют успех,
но чтобы каждому открыться,
он должен спрятаться от всех.

Когда замкнется круг старинный,
но в том, что биться будет впредь,
ты сколок с давешней картины
сумеешь явственно узреть,
непритязательность людская
сотрет обиды остроту,
твоим забавам потакая
под сенью девушек в цвету.

И вот – поэт. Он жил меж нами
и, как живой, стоит в очах.
Он был мудрец, но временами
Был мот, кутила, весельчак.
Он позабыть умел о друге,
забросить службы маяту,
и проводил свои досуги
под сенью девушек в цвету.

Как повелось, катили годы
и обессилела рука.
Он выходил уже из моды
годам примерно к сорока,
и фотография на блюде
втекла в надгробную плиту,
и песни новые поются
под сенью девушек в цвету.

И век парит по райским кущам,
пустив минувшее на слом,
опять гадают о грядущем,
как мы гадали о былом,
и мир, как водится, чудесен,
вновь захлебнется на лету
и не расслышит новых песен
под сенью девушек в цвету.

Целый вечер снег идет
за окном.
Ты приедешь нехотя
в старый дом.

Забежишь из города,
как пришлось.
Уберешь не скоро ты
снег с волос.

Ты придешь, как давеча,
как вчера,
не навеки – на вечер,
до утра.

Небеса надуются,
хлынет дождь,
не по нашей улице
ты пойдешь.

За громадой каменной,
как на грех,
я увижу памятный
серый мех,

подойду, потрогаю,
постою,
озарю убогую
жизнь свою.

Отчего в холодном зале,
где присутствовали мы,
ты не плакала слезами
вдруг нагрянувшей зимы?
Отчего, помедлив малость,
ты внезапно разрыдалась
и в полночный темный час
отдалилась вдруг от нас?

Ночью вьюга ворожила
новогодней кутерьмой,
но внезапно ты решила
поскорей идти домой,
точно не было печали,
у подъезда помолчали,
только дрогнула рука:
«До свидания!» - «Пока!»

Ничего, что дома стало
на душе совсем темно,
ты из шкафчика достала
припасенное вино, -
потянула, посидела,
но кому какое дело, -
мы, известно, пьем до дна,
оттого и нет вина.

С новым счастьем, с новым годом,
С новым снегом за окном!
Напоит меня погода
ледяным своим вином,
напоит меня по горло,
и пойду за ней покорно,
и забыв былую грусть,
никуда я не вернусь.

Когда венчание начнут
по православному обряду,
я не расторгну давних пут,
но поборю свою досаду,

пятиалтынным подарю
слепца, стоящего у двери,
пройду поближе к алтарю
взглянуть в лицо моей потери.

Не полегчает разве нам,
когда, совсем, я знаю, скоро,
мы подойдем с тобой к дверям
Богоявленского собора?

Мы к рождеству поспеем, глядь,
угомониться в божьем храме
и сможем нищих наделять
благословенными дарами.

И все пройдет, и весь в снегу
я стану жить гораздо проще,
хоть в эту зиму не смогу
забыть Елоховскую площадь.

А все пройдет, пройдет к утру,
когда, порвав былые пути,
я от отчаянья умру, -
и жизнь начнется с той минуты.

Бабые лето

1947

Когда ты хлопаешь дверьми
и оставляешь тесный дом,
я не прошу тебя: пойми,
и не удерживаю в нем,

и на разбитое крыльцо
вслед за тобой не выхожу,
и на бескровное лицо
я напоследок не гляжу.

Я доверяю божий дар
с утра дарованной судьбе,
и обрываю календарь,
и забываю о тебе,

и только ночью иногда
припоминаю, как слепой,
что ты жива, но никогда
мы не увидимся с тобой.

Засыпаю на заре,
сплю до часу дня,
в декабре и в январе
не буди меня.

Встану весел и здоров,
сяду за еду,
наколю на завтра дров,
по воду пойду.

Только падать будет снег,
будет снег идти,
только что-то, как на грех,
защемит в груди,

а пора поставить крест
на большой беде
и прославиться окрест
и бог знает где.

Снег по-прежнему идет,
снег не знает сна,
наступает новый год,
предстоит весна,

только, как заведено,
и теперь и впредь
буду в темное окно
до утра смотреть,

только что-то, как на грех
защемит в груди,
только падать будет снег,
будет снег идти.

Вокзальная площадь – преддверье разрыва,
вдвоем здесь едва ли мы будем опять,
нам надо проститься с тобой торопливо
и зря у людей на виду не стоять,

минутного счастья не мерить заране,
вперед не рассчитывать поздних невзгод, -
уже сновиденье и даже свиданье
несбыточных чаяний нам не вернет.

Трясется на стыках полуночный поезд,
над скошенным лугом протяжно трубя,
кати себе, загодя не беспокоясь,
что вздумает кто-то окликнуть тебя,

что кто-то осилит угрюмые дали,
припомнит, какое ты слово сказал...
Тебя одного настигает с годами
желанье вернуться на старый вокзал.

Протяну на белом свете
сорок с небольшим,
буду сам за все в ответе,
словно нижний чин,

а потом взгляну на небо
и придется мне
помирать, хоть я и не был
на большой войне.

И шагал, да не в пехоте,
шел, да не в строю,
по одной своей охоте
вел войну свою.

А коль выйдешь, глаз не пряча,
проясняя речь,
то не так проста задача
голову сберечь.

Птичий гомон, птичий клеток,
птичий горький век!
Вот и помер недалекий,
слабый человек,

а просил совсем не хлеба –
кашки полевой,
он, не то чтобы нелепый,
а и сам не свой.

Бывает так, что по утрам,
а иногда в дневную пору,
я забреду в соседний храм,
надеясь там найти опору,
не знаю сам, чего хочу,
но не даю сомненьям ходу,
и за пятак беру свечу
седому дьякону в угоду.

Покуда теплится свеча
и догорает понемногу,
я не рискую сгоряча
перечить распятому богу,
не затеваю распрей с ним
о слепоте смиренной веры,
какой поныне мы храним
кровоточащие примеры.

И надвигается ли тьма,
заря ли новая зарделась,
чтоб не сойти потом с ума
необходима только смелость,
одно сознание, что господь
ждет верности своим наказам,
но, если смертна наша плоть,
ты соблюдать их не обязан.

Проходят годы – меркнет ложь,
пересташь дышать и верить,
а все глядишь, чего-то ждешь,
как будто распахнутся двери –
и женщина войдет, и вдруг
все переменится вокруг.

Ты сосчитай до десяти,
когда глаза начнут слипаться,
но утекавшее меж пальцев
и не пытайся наскрести.
Ты растерял свое добро
И никуда тебе не деться,
И золотые годы детства
Ты отдаешь за серебро.

Ночной природы новизна
внезапно блекнет на рассвете,
скудеет беглая весна,
нечаянно взрослеют дети.
Вольно же сердцу клокотать,
когда проходит благодать,
когда на склоне тусклых дней
уже не думаешь о ней.

Бабье лето, бабье лето –
ни ответа, ни привета
только листья на пороге,
только слезы на ветру,
а посмотришь, успокоясь, -
только пригородный поезд
по Савеловской дороге
тихо едет поутру.

Бабье лето. Для проформы
пассажирские платформы
провожают, бьют поклоны,
не забудь о нас, пиши!
Бабье лето, бабье лето –
это поздняя примета
неродной, неутоленной,
неприкаянной души.

Если что-нибудь случится,
если женщина, как птица,
улетит и возвратится, -
что ответить ей могу,
если путь не слишком долог,
если я не старый олух,
а стою, как в сучьях голых,
в неоплаченном долгу.

Бабье лето. Бабье лето,
это значит - песня спета,
опрокинуты стаканы,
перевернуты дома.
Бабье лето, бабьи слезы,
облетевшие березы,
и негаданно-нежданно
наступившая зима.

Когда я перестану сторониться
неугомонных мальчиков, которым
за каждое душевное движение
платить не приходилось всей душой.
Когда я научусь глядеть в глаза,
не опуская глаз. Когда я буду
заранее знать все, что может быть
пятнадцатого ночью, или утром
во вторник, а не то и в понедельник
среди бела дня. Когда я ухитрюсь
скупые слитки золоченных лет
разменивать на мелкую монету
привычных, будничных, обыкновенных дней,
уже не вызывающих улыбки
у дворника, молочницы, монтера,
врача, водопроводчика, соседей
и стариков, сварливых и скупых, -
окажется, что все давно прошло.
Тебе не двадцать лет, не тридцать лет,
не сорок лет, не пятьдесят, а больше,
но ты не знаешь счастья. Не к тебе
оно приходит вечером. Не ты
неловко подаешь ему пальто
и на ночь глядя проводишь выходишь.

Случайное, неопытное счастье,
оно глядит на мокрые панели,
и край пальто невольно задевает
край твоего помятого плаща.

Ненастье. Дождь. Нам некуда спешить,
и мы бредем, куда не знаем сами.
Автобусы с потухшими глазами
уходят в парк. Ни звука. Ни души.

Ни слова вслух. Не выпустить из рук.
Не вспомнить вдруг, что мы с тобой не пара.
Чугунный памятник стоит в конце бульвара,
а мы молчим и переводим дух.

Проходят годы. Остается ложь
того, что было прежде. Перед смертью
шальная новизна минувших дней
вдруг озаряет на одно мгновенье
давным давно зачеркнутые встречи
и женщину, которая любила
тебя, сама не ведая за что.

И ты ей веришь, слепо веришь той,
которую ты не видал годами,
которую на улице, должно быть,
ты не узнаешь, для которой ты –
смешная давность, первая любовь,
нескладный мальчик в роговых очках
с растрепанными ветром волосами.

Неужели в минуту разлуки,
одолев суматоху и смех,
я пожму провожающим руки
и придется прощаться при всех?

Позвонят – и нельзя на попятный.
Ты всплакнешь и махнешь мне рукой,
и не станет моей ненаглядной,
моей милой, моей дорогой.

Поезд медленно тронется с места,
ты кому-то поклон передашь...
Я за несколько дней до отъезда
подымусь на девятый этаж,

постучусь. Не смогу достучаться.
Не гадаю, что ждет меня впредь,
но не скоро твои домочадцы
догадаются дверь отпереть.

И о чем бы мы толком не знали,
что ни делай с дурацкой судьбой,
послезавтра на Ржевском вокзале
мы не будем прощаться с тобой.

Нам положено нынче проститься
с опалившим внезапно огнем,
а простившись, горячие лица,
ты - в подушку, я - в стенку, уткнем.

Когда набегающий ветер
разрушит вечернюю тишь,
потрогаешь мокрые сети,
потом на залив поглядишь,

словечка не вымолвишь даже,
вот, разве, подумаешь вслух,
посмотришь, как мальчик на пляже,
накупившись, делает лук.

Одно только будет опорой
на темном, пустом берегу, -
лишь память о той, без которой
прожить я и дня не могу.

Ни звука, ни слуха, ни духа...
Ты знать о себе не дала.
Ребенок стреляет из лука,
И падает в море стрела.

Признания, что с ними делать?
Что делать с прибрежной тоской,
когда твое легкое тело
возникнет из пены морской,

когда среди ночи туманной,
уже ничего не тая,
сливаются лик твой обманной
и первая милость твоя.

Видит бог, не моя это вовсе вина,
что за стуком колес я припомню едва ли,
как в песок уходила шальная волна
и зеленые дюны из моря вставали.

Предрассветным туманом встречает Москва.
Первый день по приезде проходит в погоне
за тобой. Ты уходишь. Простые слова
пропадают в охрипшем от слез телефоне.

Ты упрямо молчишь, ты не веришь слезам,
ты не плачешь сама, и слова твои строги.
Сохранится ли в памяти дачный вокзал
и слепая река вдоль железной дороги?

На пустых площадях увядают цветы,
подступает к концу сумасшедшее лето,
возникает лицо из густой темноты...
Я люблю тебя, как объяснить тебе это?

Паровозы ревут на другом берегу,
ты торопишься прочь от разбуженных улиц,
и встречая тебя, я понять не могу
отчего мы с тобой в эту ночь разминулись.

Какими судьбами, скажите на милость,
цепляется память за то, что случилось,
и как сохранилась начальная целость
того, что приснилось, того, что хотелось...

Актриса, к которой ты равнодушен,
таланты, которых ты не обнаружил,
прошло, миновало, быльем поросло...
Какое сегодня у нас ремесло?

Ни старая площадь, ни новая площадь,
ни то, что полотнище ветер полощет, -
никто и словечка не вымолвит впредь,
куда подобает минувшее деть.

Парадные двери запрут на засовы,
спектакль не будет объявлен особо,
и лишь в подворотне останется след –
рассеянный, тусклый, мигающий свет.

А ты бы жизнь вдохнул в рояль –
небрежно, весело и смело,
когда бы сил не стало жаль
на трижды проклятое дело,

когда бы кто-нибудь другой,
кого и в грош-то ведь не ставишь,
не отстранил тебя рукой
от ожидающихся клавиш.

И я по-прежнему гляжу,
как снег заносит мостовые.
Подходят годы к рубежу,
а мы живем, как неживые.

И если к нам из тишины
придет нечаянная слава,
мы удивляться не должны,
но верить не имеем права.

Если выхлебаю душу,
но отдать ее не струшу
и презрительно нарушу
чудом созданный уют,
как тяжелому больному
мне дадут воды и брому
и к положенному дому
на рассвете приведут.

Но евангельскому зверю
я ведь тоже не поверю,
что верну свою потерю,
здесь молчание храня,
в этой вымершей квартире,
в этом доме, в этом мире,
где вспоили, и вскормили
и попутали меня.

Берегли в красе и в силе,
завозили, запустили,
извели, восстановили,
предназначили на слом
покаянными речами,
непонятными вначале,
бесконечными ночами
за обеденным столом.

Как легко сперва казалось
уберечь хотя бы малость
из того, что растекалось
в недоступные края,
а выходит на поверку –
уголь не ровня фейерверку,
и снимать не стоит мерку
ибо мерка не твоя.

Ты стал ходить вокруг да около,
едва одолевая робость,
хотя от взгляда волоокого,
казалось, провалился в пропасть,

но повинился тем не менее
и чуть не попросил пощады,
и укрощая нетерпение
на помост выскочил дощатый.

Пускай взирают судьи строгие
на расточение заклада,
пускай совсем еще немногие
сочтут, что так оно и надо,

ты не ищи ответа лучшего,
не торопи ее с ответом,
скупую дань благополучия
ты отнеси к дурным приметам.

Но отчего же в сонме девичьем
нет безутешнее созданья?
Хоть ты считал, ей плакать не о чем,
она не знает опозданья.

Предвестницей и провозвестницей
она мелькнет в окне трамвая,
и мчится вниз по узкой лестнице,
тебя в лицо не узнавая.

Перестань сутулиться,
погоди,
не грусти, на улицу
не гляди.

На дворе распутица,
грязь и таль...
Сбудется - не сбудется,
не гадай.

Иль затем внимательней
щуришь взор,
что живешь без матери
с давних пор?

Милая, ну что тебе
на дворе?
Слезы – это оттепель
в январе.

С нашей жалкой участи
что нам взять?
Так не стоит мучиться
вдругорядь.

Будем жить, как нравится,
грусть гоня,
раз уж ты – красавица
у меня.

Когда в безмерной дальности,
себя храня, как в термосе,
мы отличить пытаемся
доверчивость от верности,

случается с отчаянья
нам выверять исправнее
слова первоначальные,
приметы стародавние,

но продолжать приходится
пожизненное шествие,
где маленькая модница
превыше снов божественных.

Я родился задолго до поры,
как мир был ограничен домом отчим,
а отчий дом, казалось, мы упрочим
уж тем одним, что точим топоры.

Но в топорах сверкало в старину
бессилие надменного господства
и нетерпенье рабства. Остается
дверь запереть и подойти к окну,

открыть окно. Нет, распахнуть окно,
разбить окно и выпрыгнуть наружу,
туда, где я себя обезоружу
своим прыжком, и где я мертв давно.

Веревка проще и надежней нож,
а тут, глядишь, столпяся ротозеи,
но камень сердца, виснувший на шее,
с нее никак иначе не сорвешь.

И коль судьба пошедших прахом душ
и собственной твоей столь непреклонна,
присутствие всеобщего закона
в ее ночном осадке обнаружь.

Я родился давно, не позже дня,
в который был раздавлен, и в котором
был предначертан поворот к повторам,
скрутившим век задолго до меня.

Ты потеряла благодать,
мою любовь и дар певучий,
и все же старую тетрадь
ты берегла на всякий случай,

как будто знала, что в стране,
где мы с рождения дрожали,
еще понадобятся мне
сии священные скрижали.

Говорят, что четверть века –
это грань для человека,
это грань, после которой
не отвлечься никогда
от того, что прежде было,
от гумна или точила,
и того, что нам сулила
потемневшая звезда.

Мы дурному вняли знаку
и встречать не будем в драку,
Мы покорствуем, однако,
нас не милует господь.
Не взывай напрасно к небу,
справедливости не требуй,
если смесь вина и хлеба –
это кровь его и плоть.

Не читай прискорбных истин
четырем евангелистам,
перелистывая книги,
береги карандаши.
Наша поздняя награда –
это гроздь винограда.
В тишине ночного сада
вольным воздухом дыши.

Есть ненависть к людям, которые предали нас.
Есть каторга буден и святочный сладкий рассказ.
Доверится улица? Толпы народа на ней.
А сказка не сбудется, сердцу не станет вольней.

Есть ненависть к дому, в котором наладят уют,
пока на солому тебя у канавы кладут.
А если в конверте заклеена добрая весть,
ее и до смерти минуты не хватит прочесть.

Есть ненависть к богу, настигшая дочек попа...
Пусть через дорогу тебе перейти не судьба, -
мы, дескать, осудим, а ты, мол, добром помяни, -
есть ненависть к людям, которым легко в наши дни.

Девчонка приняла отраву,
надели родственники траур,
и любопытным сообщалось:
она безвременно скончалась,

в Елабуге или в Калуге
рыдали и ломали руки,
и старец в выгоревшей робе
покров рассматривал на гробе,

подружки беспримерно строго
отца порочили и бога,
а рядом нищая старуха
и сына и святого духа,

в наполненном народом зале
мужей покойных поминали,
и сколько дали за молебен
и сколь он был великолепен.

Нынче с пригородной дачи
едет поезд похоронный,
проводник, по детски плача,
на других срывает злость.
Чудом схватывая фразу
из нескладицы бессонной,
мы пойдем отнюдь не сразу,
что тут, собственно, стряслось.

Все не так, однако, странно,
ведь почти что невозбранно
у одних темнеют лица
и бледнеют у других,
и толпятся на вокзале
все, кто помнят, все, кто знали,
и поэт исполнить тщится
свой похвально-слезный стих.

Мы в толпе стоим понуро,
как диктует процедура,
ибо есть у каждой твари
приобщения пора, -
мы пришли, хоть нас не звали,
позовут-то нас едва ли,
разве что на тротуаре
будет место у костра.

Сочтено за тягчайший грех,
ибо счастья не принесло, -
хоть сулило сперва успех, -
изначальное ремесло,
хоть, казалось, высокий слог
ты недурно освоить мог,
и красотами будних дел
ты не худо тоже владел.

Не надеясь выбиться впредь,
ты остался самим собой,
захотелось в окно смотреть,
а не в карты играть с судьбой.
Мы другому строили дом,
мы платили за зло добром,
мы таскали чужую кладь,
а давно пора перестать.

Хоть неведомо, кто мы есть
и кому от нас нынче прок,
но порой доносится весть,
что не умер утлый мирок,
и что теплится там душа,
упованья свои круша, -
только старое ремесло
их от гибели и спасло.

Я убежать бываю рад
от скопища людского,
где напоследок говорят
легко и бестолково,

но чуть надвинется гроза
и оборвутся речи,
опять учусь глядеть в глаза
и узнавать при встрече.

Редуют птичьи вереницы,
мелькают низкие мосты,
от государственной границы
минуло три часа езды,

прижавшись к линии лукаво,
но не признав своей вины,
давно забыла Даугава
истоки Западной Двины.

Здесь на хребтах горбатых пашен
седой латыш срывает злость,
здесь мужики живут, как нашим
крестьянам жить не довелось,

и отступив за топкий плавень,
еще он пашет до утра,
как будто мы ему оставим
его дома и хутора.

Гуляет ветер на просторе,
на эспланаде ни души.
Еще в готическом соборе
с утра толпятся латыши.

Но прежде, чем твой предок вещей
объявит вновь свои права,
опять осклабятся зловеще
его тупые жернова.

День скользит в оконной раме,
поезд мчит издалека,
за латгальскими холмами
возвращается тоска.

А соседка в темной блузке
гнет свое: останься глух
к скуке сел великолукских
и самих Великих Лук.

Отчего же мне спросонок
все отчетливее зов
покосившихся избенок,
погоревших городов?

Говорят, что скорбь людскую
черствый хлеб и тяжкий труд
перетерпят, перекурят,
переспорят, перетрут.

Жизнь пройдет, промчится лето,
прошумит ночной камыш,
но не жди от них ответа,
отчего всю ночь не спишь.

Знать живет народ упрямый,
что ты там ни говори,
аж от Себежа до самой
почитай что до Твери.

Однажды, лстясь дать верх порядку
в привычном хаосе земли,
предотвратить решили схватку
и смотр войскам произвели,
и в мире не было мишеней
верней, дешевле, веселей
терпевших кораблекрушенье,
но уцелевших кораблей.

Морская азбука пестрела,
дрожала родина вдали,
но многократные обстрелы
их покалечить не смогли,
не помогли заряды тола
и мины мало помогли,
тонули рифы и атоллы
и выплывали корабли,
тонули медные монеты
и выплывали вензеля,
тонула черная планета,
плыла зеленая земля,

тонули гавани, тонули
в огне, в крови или в пыли,
достали, выпили, вздремнули,
проснулся, дальше поплыли,
без лишних слов, без лишних жалоб,
без лишних песен на устах.
Но уцелевшим нет причалов
в ушедших под воду портах.
А дни идут, и рвутся нервы,
и кителя съедает моль,
и тянут рыбные консервы
морскую птицу за кормой.

А дни идут, трещат суставы
и обрываются следы,
по временам, как будто, гавань
встает из под морской воды.
А дни идут, и никнет птица,
и раскрывается обман,
и взбаламученной водицей
клянется Тихий океан.

И человек в матросском званье
бессильно грезит по ночам
о справедливом воздаянье
предателям и палачам.

Ни слова вслух

1948

Не подымешь вдруг лица,
не помотришь ей в лицо –
разбиваются сердца,
разрывается кольцо,

и житейской суеты
понабравшийся сперва,
наконец, находишь ты
благодарные слова.

А под утро рвется нить,
ночь бежит по волосам,
и за что благодарить
ты уже не знаешь сам.

Ты стоишь с печальной миной
у минутного привала
и выкладываешь милой
все, что в голову запало,

а она, одолевая
злополучный твой экзамен,
на тебя глядит едва ли
благодарными глазами.

Между тем, приходит вечер,
непредвиденный дотоле,
а тебе хвалиться нечем –
поменялись ваши роли.

И уже в начале ночи
ты оспоришь неужели,
что она дошла короче
к обретению общей цели?

Куда ж я денусь
из душных комнат, -
опять надменность
мою припомнят,

припомнят порох
бесплодных сборищ,
заряд которых
не переспоришь.

Пускай своими
тогда не стали
в табачном дыме,
в подвальном зале,

но там отверстый
исходит голос,
покуда сердце
не расколосось.

Если влажностью усталой
затуманилось окно,
поступь осени, пожалуй,
угадать немудрено,

но случается, с отвычки
удивишься невпаду,
что развешаны таблички
«Осторожно, листопад!»

Да и что такое значат
эти странные слова?
Отчего беззвучно плачет
пожелтевшая листва?

И когда она, карежась,
будет после гнить во рву,
сбережет ли осторожность
уцелевшую листву?

Вот и осень на исходе.
Закрывайте плотно двери!
В нашем городе погоде
трудно на слово поверить.

Поутру над каждым домом
вьется столб густого дыма,
и, бог весть куда ведомый,
холод тянется незримо.

А потом ложится проседь,
достаешь свечной огарок,
и, когда об этом просят,
пишешь письма без помарок.

Приходит утренняя почта,
уже ты к этому привык,
уже проглатывешь то, что
тебе приходит на язык,

уже какую-нибудь малость
напрасно ищешь между строк.
Огромный мир, как оказалось,
исхожен вдоль и поперек.

Но иногда совсем другая
в ночи роится дребедень,
блаженным сном пренебрегая,
в пролет окна ложится тень,

и до утра ломаешь перья,
пока расчеты строишь сам,
на миг один хотя бы веря
своим громоздким словесам.

Она была слепая балерина,
не знавшая на сцене шумной славы, -
какой бы вздор молва ни говорила,
судившие ее кругом неправы.

Она ослепла выходя на сцену, -
стекло разбилось и в глаза попало.
Она единственно, что знала – цену
тому, что напрочь для нее пропало.

Она была заполнена по горло
дыханием несбывшейся удачи.
Она, слепая, шествовала гордо
и улыбнуться не могла иначе.

Она старела, но была опрятна,
себя держала сдержанно и сухо,
ее соседям не было понятно,
чего хотела странная старуха.

Ее соседки старились, вдовели,
она понятней делалась едва ли.
Когда за ней захлопывали двери,
чистосердечно недоумевали.

Ты наперед решил не верить
персту сомнительной судьбы,
и запереть входные двери
от напирющей толпы,

и уходить от липкой скверны,
которой мир тебя кормил
где и слова недостоверны,
и в грязь повержен твой кумир.

Оно понятно, лгать не надо,
ведь лицедеям не простят, -
есть имена и нет пощады:
худая слава не пустяк.

Но ты набрасывал заранее
опровержительную речь,
и оставляя поле брани,
хотел оружие сберечь.

И соприсутствуя святыне
в юдоли праздной до конца,
уже не властен ты отныне
стереть отметину с лица.

Посторонись на всякий случай, -
тебе кричат наперебой.
Но не бывает счастья лучше,
чем счастье быть самим собой.

Если что-нибудь получится
у того, кто служит истине,
и случайная попутчица
не покинет в час единственный,

ты не думай, что положена
за труды награда оная,
и посланца слова божия
встретят низкими поклонами.

Он пройдет годами бедными,
городищами бесхлебными,
не словами заповедными
и не травами целебными,

лишь бы сердца не растратили
и не нажили оскомины
закадычные приятели
и хорошие знакомые.

Когда придут в противоречье
без внешних поводов к тому
его хваленные предтечи
и подражавшие ему,

и проходимцы, обнаружив
доспехи сброшенные с плеч,
его нескладное оружие
на свет попробуют извлечь,

он будет желчно и упрямо
противодействовать в веках
тому, что мир и мелодрама
творяют на разных языках,

тому, что правы лишь химеры,
что в разрешении судеб
всевластны временные меры
и не в чести вода и хлеб.

Доживем ли до прихода
вешних дней?
Жить на свете год от года
все страшней.

Но покамест мы не спросим
ни о чем,
ведь свидетельница осень
непричем.

Отсыпаюсь в воскресенье,
На буднях недолог сон,
да судьба порой осенней
снова ходит колесом.

Ты приходишь и тревогу
подымаешь поутру,
все тебе не слава богу,
что ни скажешь – не к добру,

то нерадостные вести,
то худое на уме,
и опять ни врозь, ни вместе,
мы окажемся к зиме.

Чуть подрагивают ветви
под серебряной обложкой,
на снегу еще заметны
стебли зелени заглохшей,

но своим задорным взглядом
целый день галдящих галок,
пробиравшаяся рядом,
ты ничуть не испугала,

ты другого ждешь чего-то,
и закутавшимся липам
лишь резиновые боты
отвечают тихим скрипом.

Когда слова нехороши
и полон лист чернильных пятен,
вступает в силу строй души,
который более понятен:

предпочитаешь горький бром
неблагодарным поздним встречам
и воздаешь за зло добром,
когда расплачиваться нечем.

Стучат часы, стучат колеса,
всю ночь отходят поезда,
их тени падают с откоса
и отбывают навсегда,

и слуха нет о человеке,
с тех нескончаемых дорог,
отсечены от нас навеки
переступившие порог,

их как бы нет для нас отныне,
хотя они поныне есть,
но до запуганной пустыни
не достигает даже весть.

Ты научился жить, как все,
хотя музеи не иссякли,
и на четвертой полосе
мелькают фильмы и спектакли.

Но отсекала от них межа,
и, не добравшись до газеты,
и новизной не дорожа,
сбылись надежные приметы.

И одержимый жаждой дел,
какими жизнь еще владела,
ты как-то вдруг уразумел,
что лишь одно осталось дело:

не глядя в робкие сердца
и предписания устава,
дойти до самого конца,
дойти во чтобы то ни стало.

Чем хороши, скажи на милость,
ее угрюмые черты?
Но коль она тебе приснилась,
ее прогнать не сможешь ты,

она придет в конце недели,
твердя навязчивый мотив,
и упадет на край постели,
лицо руками обхватив,

и всякий раз одни те же
найдешь утешные слова,
но повторять их будешь реже,
хотя она еще жива.

Услышишь музыку в ночи,
охватит давняя тревога, -
но не терзайся, помолчи
и успокойся ради бога!

Тебе давно забыть пора
про то, что радовало прежде,
а не кончается игра
в которой места нет надежде.

Жизнь безрассудна и проста,
и немудрен ее обычай:
открыта взору красота
и внятен слуху клекот птичий,

теченье лет не удлинишь,
не переделаешь пространство,
а наши души гложет лишь
ночных видений постоянство

Надежды нет, и ждать не надо
и даже сетовать не след.
К тебе поднять не может взгляда
вертящий радио сосед.

Опять молчание, и снова
смычки взрезают груз обид,
журчит кларнетом глас бывшего,
фагот напраслину сулит.

И ты, наскучив жить по нотам,
решишься вдруг в ночной тиши
доверить лестничным пролетам
бессмертие своей души.

С годами отойдут напрасные приметы,
в обыденности слез развеется печаль,
но если я тебя спрошу, к чему бы это,
всеведущая, ты молчи, не отвечай,

в полночной тишине расплакаться не бойся,
защиты не ищи в сумятице дневной,
когда приходят в дом приметы беспокойства,
дыхание волны, прошедшей надо мной.

Я твой, смоленая головка,
а отчего – не знаю сам,
не оттого ли, что неловко
провел рукой по волосам?

И с той поры одно и то же
твержу, покуда станет сил,
не признавая, что художник
твое лицо преобразил.

А ты права, ты мне не пара,
ты мне свой веер не отдашь,
портретом кисти Ренуара
не поступится Эрмитаж,

и все равно не ступит горе
в мои полночные края,
пока на письменном приборе
есть фотография твоя.

Алеет за окном вечерняя заря,
везет дрова разбитая телега.
Взбредает же на ум в начале декабря,
что нынешней зимой нам не дожждаться снега!

Неслышно заслонив намокшее стекло,
малиновый туман висит над садом сонным,
надеясь воротить недавнее тепло
простывшим деревьям и лужам застекленным.

Поэт, ступай своей дорогой,
засохших губ не шевеля,
когда поверхности убогой
стыдится голая земля,

не жди, не прячься за портьерой,
молчи, не верь своим словам,
и не гляди на этот серый
давно забытый котлован.

Порой встречается в полотнах
французских новых мастеров
очарование мимолетных,
но повторяющихся снов.

Зима. Зима. Обряд исполнен
в тиши дорических колонн,
но от житейских наших молний
не защищает Аполлон.

Судьба валит, как хлопья снега,
едва вздохнешь, она и вся,
и бродишь в поисках ночлега,
когдадохнуть уже нельзя.

Сухие пальцы сжав до хруста,
миришься с прежней немотой,
и отдаешь свое искусство
за ужас жизни прожитой.

Троянская война

1948 - 1949

Не томи, не мучь, не требуй
счастья до седин.
Что случилось с королевой
знает бог один.
У нее пропало имя, -
говорит король.
Ты играешь в пантомиме
небольшую роль.
Ты приходишь, тихий мальчик,
начитавшись книг,
ты не знаешь, сколь обманчив
королевин лик,
на тебя глядят безгласно
мертвые цветы.
Боже, как она прекрасна, -
повторяешь ты.
Дни проходят вереницей,
катят облака,
приезжает бедный рыцарь
к ней издалека,
вянут бледные левкой,
горбится самшит,
рыцарь в дальние покои
через двор спешит.
Он приходит к ней без гнева,
верностью храним,
перед смертью королева
спорит с ним одним.
Трудный путь едва лишь начат,
пропадает роль,
бедный рыцарь тихо плачет
и молчит король.
Тихий мальчик, что такое
значит этот сон?

Кто лишает нас покоя
до конца времен?
Для чего смущенных Девой
мы понять хотим?
Что случилось с королевой
знает бог один.

Предвестник слез – предутренний туман,
и проводов трамвайных виснут сети.
Земной простор – заведомый обман.
Пора, как говорится, по домам!
Невесело теперь на белом свете.

Тут не уйдешь от скрещенных лучей,
никто тебя не вызволит из плена.
Хоть пробил час, но этот час ничей,
и гонит прочь седых бородачей
супругу возвращенная Елена.

Пусть ей опять доступна благодать
сопровождать спартанского героя,
но вдругорядь блеснет морская гладь,
и нечего, выходит, вспоминать,
чем некогда ее манила Троя.

Она теперь выходит на простор,
где набирает жесткость голос нежный,
и не спасает прежний разговор,
и темных улиц узкий коридор
опять выводит к площади Манежной.

Который год ты бродишь сам не свой, -
(хоть за язык никто тебя не тянет), -
поняв, что срок минует вековой,
пока столпятся вновь на мостовой
презревшие свой жребий москвитяне.

Они спешат сегодня по делам,
а дел, как водится, немало разных, -
у них есть дом, посуда, старый хлам,
они живут, рассевшись по углам,
и кучками справляют общий праздник.

Цымлянское стреляет в потолок,
вскипает кровь, наполнены фужеры,
есть Новый год и некий новый бог,
а тихий дом – укромный уголок
надежды и любви, добра и веры.

Елена входит в этот прочный мир,
она молчит, и делаешь ей больно.
Ты прежде лгал, и будущим корил,
И не был мил, и хлебом не кормил,
Но вы встречаетесь и этого довольно.

Она сама прикосновеньем рук
ломает строй привязанности тайной,
и на мгновенье остаешься глух,
пока лицо не озаряет вдруг
далекий отблеск молнии трамвайной.

Почтальон, не умолкая,
каждый день колотит в дверь.
Мне решительность такая
стала тягостна теперь,
мне хотелось бы забыться,
оглядеться, убедиться,
что не так уже плоха
городская суматоха,
но совсем, совсем неплохо,
если улица тиха.

Перед красным светофором
собирается народ.
Ветер ходит под забором,
застревает у ворот.
Почтальону не пробиться,
почтальон не смотрит в лица,
почтальону невдомек,
чья судьба ему знакома,
кто сегодня спал не дома
и письма принять не смог.

Он кладет в почтовый ящик
ворох писем шелестящих
от знакомых и родных,
две центральные газеты
и назначенные где-то
сто целковых наградных.

Почтальон не знает что там,
он не верит анекдотам,
ходит в гости из гостей, -
находящий дверь на ощупь,
он – всего только разносчик
надоевших новостей.

Он приносит холод в души,
и сидишь и бьешь баклуши,
забываешь все кругом.

В этом городе бессонном
что мне делать с почтальоном,
чтобы думать о другом?

Прежде, чем явится бездна бездонная
за кораблем, к отправленью готовым,
сходит на пристань тоска беспардонная
и пропадает в угаре портовом.

Будь они прокляты, те, кто не плавали,
те, кто прыщавого рта не раскрыли!
Честь и хвала оставляющим гавани
и уходящим в пучины морские.

Голод и каторга. Смерть и лишения.
Ложь и анафема. Гибель у цели.
И потерпевшим кораблекрушение
не объясняй, что они уцелели.

В битву вступает подводное воинство,
крыльями пены касается птица...
Знать не положено им успокоиться
и к суете городской воротиться.

Сообразив, что светлым раем
земля не станет никогда,
мы отчужденно озираем
первоначальные года,

глядим, как морщится бумага
в плену двойных оконных рам,
и ждем не мудрости, а блага
от новогодних телеграмм.

Перед отходом в дальний путь
скрипение платформы шаткой.
Махнешь разорванной перчаткой,
когда ни охнуть, ни вздохнуть,
и плачешь горькими слезами
о происшедшем на вокзале,
о том, что нечего беречь
нам в этой жизни окаянной,
но что покров ее туманный
нам не под силу сбросить с плеч.

К больным приходят доктора
и говорят им: «Что вы, право,
примите, это не отравы,
соснуть вам надо до утра».
На улице туман и слякоть.
Нам говорят: «Не надо плакать,
поправитесь, бог даст, тогда
я вас в одно устрою место, -
оно отлично мне известно,
я там бываю иногда».

Мы умираем невпопад,
и только изредка иному
нетерпеливому больному
вдруг удастся этот ад
отбросить прочь и подивиться,
что по ночам ему не спится,
что он как будто бы оглох,
и застает его врасплох
возникший ночью беспорядок,
прикосновение горьких губ,
а он нетерпелив, и груб
и, кажется, на ласки падок.

Промелькнула тень в окне.
Если можете, спасите,
успокойте, объясните,
отчего так страшно мне.

Кто-то плачет за стеной.
Вот он рядом, вот он, вот он!
Он ко всем моим заботам
не прибавит ни одной.

Между сумраком и тьмой,
если я соснуть прилягу,
он не сделает и шагу
непонятный спутник мой.

Что он знает обо мне?
Что ему моя тревога?
Он покуда, слава богу,
остается в стороне.

Отчего ж он страшен так
этот серенький мышонок?
К блеску глаз его смысленных
не привыкну я никак.

Вот и сам слежу всю ночь
за дотошным забиякой.
С этой мудростью двоякой
мне становится невмочь.

Он уходит по стене,
растворяясь на рассвете.
У соседей плачут дети.
А чего бояться мне?

Уехать, уехать бог знает куда,
откуда обратно дорога закрыта,
туда, где полощет морская вода
старинную смесь чугуна и гранита,

туда, где не будет нечаянных встреч
ни с кем из гостей, приглашенных на праздник,
туда, где себя исхитришься сберечь
от слез неуместных и слов несурзных.

Захочешь вернуть - не отыщешь следа,
былого не выманишь выходкой шалой.
Ну, что же, прощай навсегда. – Навсегда?
А это надолго? – Не знаю. Пожалуй.

Глухим проводам, утонувшим в листве,
едва ли нужна будет прежняя смелость,
чтоб где-то на юго-востоке, в Москве,
слепое окно второпях загорелось.

Спускаемся. Улица. Узкий подъезд.
Старинные липы, дубы и платаны.
В огромной столице есть множество мест,
где были бы нынче мы сыты и пьяны.

А мы созерцаем, как льет из окна
рассеянный свет, постепенно желтея.
Должно быть, вот так и проходит она,
нелепая эта земная затея.

Кто-то умер, кто-то вышел,
кто-то дверь не затворил...
В тишине под снежной крышей
остается шелест крыл,

остается гул былого,
понимаешь – это здесь,
и совсем простое слово
вслух боишься произнести.

А под утро елки праздной,
расплываясь, вянет тень,
и встает обычный, ясный,
чуть морозный зимний день.

Ты слушаешь меня? С чего бы, милый друг,
за что я ни возьмусь, все падает из рук?
Вот был я, например, обязан сделать ныне
положенный урок серебряной латыни,
ушли все из дому, - раздолье в тишине, -
да пакость прежняя опять пришла ко мне.

Ужели на нее не жаль тебе усилий,
и рифмы зыбкие ужели не постыли?
Ни светлой мудрости, ни чистой красоты,
ни пользы для себя в них не отыщешь ты, -
одна лишь суетность да времяпровожденье.
Добро бы сочинять куплеты на рожденья
четыре, пять, ну, шесть, ну, десять раз в году!

(Десятка поводов я, право, не найду
виршеписательству пожертвовать досугом,
но все равно, пускай.) Тогда к твоим услугам
твой письменный прибор, нарядной музы храм,
а то ведь маешься, я вижу, по углам
и тайные плоды вытравливаешь часто,
сокрыть надеясь грех от высшего начальства.

Пора. Давно пора. Пора, я знаю сам.
Бегут мои мольбы напрасно к небесам,
на них ответа нет, и я не жду ответа.
Отчаянная злость, как некая комета,
ломает мирный строй забывчивых светил
и спрашивает: ну, чему ты посвятил
свой день сегодняшний? Опять виршеписание?
Послал тебе господь, должно быть, наказание.
За что? Не ведаю. За что? Бог весть, за что.
Для черпанья воды дает он решето,

а ты и черпаешь ржавеющую воду,
да все это еще в ненастную погоду
под проливным дождем. Невесело, увы!
Нет, не сносить тебе, любезный, головы,
участья не сыскать в приятельской беседе.
Свободны над тобой глумиться и соседи.
А в детстве думали – вот у людей сынок!
Тебе-то самому ужели невдомек
связать свою судьбу с благопристойным делом,
умело овладеть положенным пределом,
и походя вносить в палаты естества
размеренную прыть ума и мастерства.
Пора. Давно пора. Еще не поздно, право.
Алмазу надобна достойная оправа.
Еще надежда есть, - вернет на добрый путь
живительный порыв с тернистого свернуть.

Оно приходит вдруг, пустое беспокойство.
Темны его пути, приметы, поступь, свойства.
Оно не хочет знать обыденных тревог,
изведанных тобой. Оно, не сняв сапог,
ломится в комнаты, кладет на скатерть ноги,
и остаешься ты, смятенный, на пороге,
не смея помешать тому, что говорит,
и, труса праздного, тебя боготворит.

Мы увидимся не скоро,
дурь пройдет, как дым,
незнакомый этот город
скажется родным.

В перекрестках разбираться
не придется мне, -
буду жить на Петроградской
стройной стороне.

Но, хоть мы и стали старше,
а охота нам
воротиться к Патриаршим
вымерзшим прудам.

Ах, не мы ли это были,
или были мы,
в бойкой святочной кадрили,
в кутерьме зимы?

Скажешь ты, что жизнь сначала
я начать смогу,
но и то, что здесь бывало,
снова гнет в дугу.

Лишь мучительного сходства
бог не приведи,
все проходит, остается
только боль в груди.

Опять налево по Мясницкой
иду от Кировских ворот,
где суматошные девицы
встречают старый Новый год.

Хоть за насмешками моими
лежит надменности печать,
я на вопрос «Как ваше имя?»
им не могу не отвечать.

Должно быть, искренность признаний
благоприятствует мечтам.
Среди насупившихся зданий
живет один ночной почтамп,

он полон дел, от века грубых,
ему, что новость, что навет.
Неверный блеск лиловых трубок
здесь выдают за белый свет.

Но не надеясь, что другая,
как ты, окажется близка,
я сам тебя уберегаю
от телефонного звонка.

Ведь я не льщусь, что часом позже,
когда ты тоже выйдешь к ним,
тебе откликнется прохожий
с нескладным именем моим.

Вода ломает колкий лед,
на льдину наплзает льдина,
и в темноту тебя несет
неодолима пучина.

Сквозь дочерна промокший снег
встают неведомые лица,
и с криком «Тонет человек!»
на берегу народ толпится.

Но ухватившим эту весть
уже не выложить прохожим,
что, значит, вот оно, как есть,
и ничего мы тут не можем,

лишь среди праздных новостей,
к текущим дням не подготовясь,
«внимать безумства и страстей
незанимательную повесть».

Опять туман и слякоть,
но, горя не тая,
не надо только плакать,
хорошая моя.

Неладно с чудаками,
живущими в глуши,
с глухими чердаками
и тайнами души.

А если сохраниться
вопросам суждено,
пойдем на десять тридцать
в ближайшее кино.

О славных музыкантах
соседних с нами стран
фривольно и пикантно
поведает экран,

событий вереница
пройдет перед тобой,
ты сможешь прослезиться
над горестной судьбой.

Не выгляди угрюмой,
держи себя в руках,
но втихомолку думай
о здешних чудаках.

Человеческое море,
голосов нестройный лес, -
разгулялся в коридоре
пенных волн беспечный плеск.

И мужья к дородным женам
наклоняются едва,
и заезжим дирижером
восторгается Москва.

Как река, в долину хлынув,
проплывают мимо вас
дамы в платьях полудлинных
в полупрофиль и анфас,

и когда туман их зыбкий
разогнать возьметесь вы,
ободряют вас улыбкой
и наклоном головы.

Что за низменная проза!
До чего вульгарный взгляд!
Здесь играли Берлиоза
полчаса тому назад,

и руками разгребая
снеговую крутоверть,
распахнула дверь слепая
и бессмысленная смерть.

День прошел, как день вчерашний,
темный вечер падал вниз,
в суматохе было страшно
зацепиться за карниз,

и чертеж ночного зданья
различая искони,
мы не ждали воздаянья
за дела свои и дни.

Все прошло, пролетело, промчалось,
пронеслось, отшумело навек,
на рассвете проходит усталость,
тает рыхлый, потоптанный снег.

Я услышу шаги в коридоре,
подоконник затопит вода,
на железном повиснет заборе
голодающих галок орда.

Только что мне безмолвие птичье,
что мне крик этот птичий в ночи,
что мне славы чужое величье,
городов золотые ключи?

Встанет хлыщ, молодой и надменный,
беспощадно осмысленный бес,
он послужит достойной заменой
и сумеет достать до небес.

Принимающий мудрость столетий,
не даваясь в обман палачам,
он не станет писать на рассвете,
чтобы после не жечь по ночам.

Кабы в нашей было власти
скинуть кладь с усталых плеч,
и дыханием напасти
удавалось пренебречь,

и давнишняя досада
отпускала хоть на миг,
вовсе было бы не надо
углубляться в дебри книг.

Доверяясь вихрю моды,
размотали бы мы дни,
а не ждали бы погоды,
сидя в комнате одни,

и не видели бы толка
в тихом веянье духов,
остающемся надолго
после третьих петухов.

Весь день мело, мело, - и к ночи
еще сильнее мело, чем днем.
Спеша добраться покороче,
мы вышли из дому вдвоем.

Кольцом охватывало дали
в пространство брошенной земли,
и мы, опомнившись, не знали,
куда мы, собственно, брели.

Сугробы сбившегося снега
к трамвайным кинулись путям,
вдали от позднего ночлега
я был отчаянно упрямым.

Мело. Мело. Гуляла вьюга.
Из под платка сползала прядь.
И мы держались друг за друга,
боясь друг друга потерять.

Пурга по-прежнему валила,
оставив нам идти впотьмах,
укрыв небесные светила
и загасив огни в домах.

Уже свалиться было впору,
уже, казалось, быть греху,
а мы, как назло, лезли в гору,
спеша расстаться наверху.

Нас отличает от других
не цвет лица, не запах кожи,
мы до того бываем схожи,
что часто думаешь: двойник!

Мы говорим: не так уж плох
банальный путь – семья и школа,
и глас тупого произвола
уже, казалось бы, заглох.

Но на вопросы никогда,
не отыскать уже ответа.
Слепая падает комета,
восходит новая звезда,

и мы торопимся за ней
среди безмолвного пространства
найти в покорности своей
залог чужого постоянства.

Своей судьбе наперекор
бегу по косогору
в открытый каждому простор,
в мальчишескую пору,

и безнаказанно могу,
забыв дорогу к дому,
лежать на сваленном стогу,
уткнув лицо в солому.

Стоит жара. Погожий день.
Грохочет молотилка.
И на твоих ресницах тень,
и на губах ухмылка.

А я не знаю наперед,
что с нами будет, кроме
того, что синий небосвод
останется огромен.

Нам снятся сны, чужие сны,
уже знакомые кому-то,
а ощущение новизны
отнюдь не правило, а смута.

Мы долго путаемся с ним,
ловя подробности пророчеств,
его хулителей браним
и остываем, в нем упрочась.

А людям чужд наш ворох снов,
они на новшества не падки,
хоть ты им выболтать готов
свои невнятные догадки,

вполне достаточно для них
попить, поесть, в постель свалиться,
и знать, что много пишут книг
весьма значительные лица.

Природа таинства распорота
и оборот его заметен,
коль скоро вырвалось из города
дыхание московских сплетен.

Оно не то, чтобы подслушано,
но просто случаем досталось
увидеть выжившего Пушкина
кругом обманутым под старость.

Ты с ним поближе познакомиться
не делал даже и попытки,
а о делах его любовницы
уже наслушался в избытке.

Ведь норовит орава шалая
ловить оракула на слове,
вторгаясь толстыми журналами
в причуды старческой любви.

Твердя, что время слезы вытерло,
она усердствует в погоне
за разговорами Юпитера
с Юноной на блатном жаргоне.

Поэт уйдет полузабытым,
и, очевидно, неспроста,
ему воздав, его зенитом
объявят общие места.

Венок лавровый будет вскоре
тяжеле мраморной плиты,
и зазвенит в хвалебном хоре
счастливый голос клеветы.

Его, участия удостоив,
спеша загладить прежний лед,
не сотрясающим устоев
провозгласят, едва помрет.

А мы, ославленные басней,
откуда выросшей бог весть,
все представляемся опасней,
чем мы на самом деле есть.

Зато – открыты ли мы взорам
или ушли в свои углы –
теперь кичимся мы позором,
стыдясь казенной похвалы.

Так возникает понемногу,
подчас помимо нас самих,
пристрастье к выпренному слогу
не писанных, но внятных книг.

С чего бы опять безрассудной старухе
приспичило врать мне про верные слухи?
Я слухам не верю, я в город ни шагу,
я хлопаю дверью и порчу бумагу;
невольно коробясь, гляжу дотемна
в бездонную пропасть пустого окна.

Я книги читаю о женщинах странных,
я счастья не знаю в старинных романах
о рыцарях рьяных, о радостных странах,
о стреляных ранах и подвигах бранных.
Свет гаснет. Соседка приносит свечу.
Но я ведь и в праздник обычно молчу.

Хоть вспомнить бы впору, как в самом начале
мы в сытую свору случайно попали,
и, помню, франтиха, наряднее нет,
придвинула тихо коробку конфет
и не без кокетства сказала: не мешкай.
Я с раннего детства слышу сладкоежкой.

Я дую на блюде, случайно забредший,
все льются да льются несвязные речи
о модных обновках, о праздных кретинах,
о русых головках, о кинокартинах,
об общих могилах безвременно павших,
о впавших в немилость и в милость попавших.

О, как же мы просто провидеть могли бы
тяжелую поступь испанского гриппа,
склерозную известь в натруженных венах,

извечную близость событий военных,
бессмысленной бойни тревогу и труд, -
и ждать их спокойно: придут, так придут.

А мы различаем полночную вьюгу
за праведным лаем старинных застав,
торопимся в гости к давнишнему другу
и плачем от злости, его не застав,
следим исподлобья за каменным раем,
живем наподобье бездомных бродяг,
о чем беспокоимся – сами не знаем,
и встречного поезда ждем на путях.

Не потерял ли ты терпенье,
коль был доселе терпелив,
спеша схватить, хоть на мгновенье,
весны развенчанной разлив,

и просыпаться ранней ранью
в своем насиженном углу,
и оскудевшее дыханье
отдать прозрачному стеклу?

Опять ручьи бегут навстречу,
галдят бесстыжие грачи,
давно заученные речи
так непривычно горячи,

в дверях подхватывает ветер
твоих нечаянных подруг,
и счастье жить на белом свете
тебя растаптывает вдруг.

Вспоминается мне становление дней,
как бродил по стране, как скитался по ней,
как был распят один в назиданье векам
тот, который ходил по чужим большакам.

Ночью сняли с креста, положили во гроб,
не лобзали в уста и не гладили лоб;
плащаницей укрыт в углублении скал,
не стерпевший обид без дыханья лежал.

Только время идет и покорствуя лжи,
и в заброшенный грот воротились мужи;
лишь по краю небес занимался рассвет, -
а покойник исчез, а в гробу его нет.

И поникли без сил, хоть оставленный тут
наперед объявил, что напрасен их труд.
Из почтенных отцов ни один не постиг,
что среди мертвецов даром ищут живых.

Не знаю, к стати ли, не к стати ль,
привычный рушится уклад:
Москвы давнишний обитатель
Перебираюсь в Ленинград.

Уже не думаю, что можем
мы отвратить грядущий год.
Мне быть по-прежнему прохожим.
Я – кто? Я – путник, пешеход.

С утра иду, не зная следа,
гляжу, как сходит рыхлый снег.
Изба случайного соседа
манит под вечер на ночлег.

Вскочу поспешно, как по знаку,
чуть закричит петух в хлеву,
и забрехавшую собаку
коротким словом оборву.

Иду заброшенным проселком,
не разобрав куда иду,
иду, не зная даже толком,
кому я вышел на беду.

И только господу известно,
дойду ли я когда-нибудь,
когда-нибудь дойду до места,
а там опять в обратный путь.

Чему, казалось бы, помеха
моя извечная страда,
да временами не до смеха
и не до слез почти всегда.

Сгорает прелая солома,
по пепелищам не пройти,
и только два бывает дома –
в начале и в конце пути.

Мне хотелось бы знать, что в последний,
расставаясь с тобой на века,
я пальто не оставлю в передней
и тоску не возьму с потолка,

и не стану глядеть виновато,
и не вздумаю бить себя в грудь.
Если что-то и было когда-то,
так того все равно не вернуть.

А когда не сдержусь и расплачусь,
ты словечка не сыщешь в ответ, -
ведь из всех человеческих качеств
у тебя только имени нет.

И развеясь куда уж бесславней,
в поминальную книгу внесен
мой печальный, мой дальний, мой давний,
стародавний, несбывшийся сон.

Картина, кажется, давно тебе знакома:
стучит по стеклам запоздалый град.
По вечерам тебя застанет дома
случайный гость, забредший наугад.

Блеснет очками в золотой оправе,
сперва помедлит, но шагнет вперед
и грудю позабытых фотографий,
тебе не возражая, разберет.

Потом гроза пройдет, и вспомнишь все же
о чем-то дальнем, давнем, дорогом,
о том, что ты была тогда моложе,
о том же самом и совсем другом.

Теперь про это появились книжки,
и всякий скажет, кто был виноват,
что уходили на войну мальчишки,
а похоронки слали на солдат.

Они исправно доставлялись на дом:
в болотах пинских и в донской степи,
под Кенигсбергом и под Сталинградом
все кончено, и говорят – стерпи.

А жизнь идет. В тиши укромных комнат
нелепо тянется житье-бытье.
Но если кто-то невзначай напомнит
раздерганную молодость ее,

то в переплет занятий настоящих,
вложив страницы давних передряг,
она попросит заходить почаще
и улыбнется, может быть, в дверях.

Войти, ступать нельзя неслышной,
взглянуть нечаянно в упор,
и неожиданный, давнишний,
опять затеять разговор.

Но не спасет ни дом старинный,
уже назначенный на слом,
ни даже профиль балерины,
висящий над твоим столом.

И на беспамятном просторе,
перед которым нищ и наг,
стоишь и ждешь, - быть может, море
еще поднимет на волнах.

Передо мной морская гладь.
Земля, как будто, раскололась.
Я начинаю забывать
твое лицо, глаза и голос.

Клонясь к земному рубежу,
сходя на пристань с парохода,
уныло на воду гляжу
и твоего не жду прихода.

А птица реет между скал,
и ты молчишь, как будто птица
находит то, что ты искал,
и дальше плакать не годится.

А на другом материке
ты смотришь вдаль и портишь зренье,
и различаешь вдалеке
ее скупое оперенье.

Война! Троянская война.
Смертельный бой в ночном полете
за то, что чувствуешь сполна
присутствие тепла и плоти.

Победный клич. Полет орла.
И в темноте я не замечу
прикосновения крыла
к земле, несущейся навстречу.

Где кончается гранит

1949 - 1952

Нет, не впервые нынче здесь
ты остановишься и снова,
как на ладони, берег весь
увидишь с вала крепостного,

когда клонящие ко сну
его торжественность и сырость
столь не похожи на страну,
где ты рожден и где ты вырос.

А дальше ростры, острова,
морская гладь и память детства, -
ты здесь бывал и мог сперва
в лицо глядеть и наглядеться.

Ты знал – России тяжела
родным поставленная сыном
адмиралтейская игла
над этим городом пустынным.

Когда после долгой разлуки
мы молча встречаемся вдруг,
сплетаются жадные руки
и падает что-то из рук,

и нашим объятьям горячим
мы вроде бы верим в душе,
хотя и по-прежнему плачем,
а плакать не надо уже.

Но часто мы сами не знаем,
что делать нам дальше с тобой,
и слабые руки ломаем
в ночной суете дождевой,

глядим, как вдоль пышного луга
разорванный стелется дым,
и спорим, пытаясь друг друга
утешить дыханьем своим.

Кто-то зашевелится в листве,
ветер или дождь.
Ближе в этом городе к Москве
места не найдешь.

Здесь он защищается от вьюг,
прячется с трудом,
и по направлению на юг
твой – последний - дом.

Вот она и кончилась, прошла
и твоя пора, -
если только смерть не тяжела,
нам домой пора.

Вот мы и не в пламени горим,
слез не льем ручьем, -
только до рассвета говорим –
кто о чем.

Осень на дворе, беспамятная осень, -
уезжать пора.
Так мы ни о чем сегодня и не спросим,
милая сестра.

Надо разрывать с привычными местами,
отправляться в путь.
Встретимся опять – загадывать не станем,
спросим что-нибудь.

Но остановись, послушай, бога ради,
на слово поверь.
Жили мы в Москве, гостили в Ленинграде,
где же мы теперь?

Или мы и впрямь моложе год от года?
Или это дым?
Или старый клен души своей не додал
листьям золотым?

Не слишком я верю, что греческий бог
являлся полночным Афинам,
что след его давний доселе глубок
на белом крыле лебедином,

что прочь он отрезал былую беду,
что сладил с побочной нагрузкой,
за что и поставлен был в Летнем саду
прибежищем памяти русской.

Воскреснет ли город? Иссякнет ли он,
замучен торжественной славой?
Уже он на скудный паек обречен
и каре подвержен неправой.

И только морская не ведает гладь,
пред невским притихшая устьем,
что в несколько лет суждено ему стать
российской тоски захолустьем.

Прихожу сюда с поклоном,
знаю, что не в срок.
Над огромным стадионом
легкий ветерок.

Море, словно обессилев,
плещет о края.
Здесь кончается Россия,
родина моя.

Нет, не скоро будет старость,
раньше будет смерть.
Поднимающийся парус
режет неба твердь.

Ветер с моря, ветер с моря,
кто ты и куда
уносила наше горе
горькая вода?

Не останется под спудом
этот плеск волны,
если мы, каким-то чудом,
будем спасены,

если каверзное имя,
даденное мне,
неожиданно подымет
на большой волне.

Сызмальства живя на исходе
беспамятно смутных годин,
спокойной октябрьской погоде
мы на слово верить хотим.

Как дети, пощады мы просим,
едва переступим порог,
да только ненастная осень
приходит, как водится, в срок.

Зима исправляться не станет
и в каждый навяжется год,
и даже врасплох не застанет
зимы петербургской приход.

Но пусть ты судьбе покорился
и куцого счастья достиг,
поныне живет на Зверинской
твой родич, твой друг, твой двойник.

Сны сбываются. Сбываются ли сны?
Птицы каются от лета до весны,
за неделями недели, - бог ты мой! –
а в апреле возвращаются домой.

Дни торопятся. Торопятся ли дни?
Мы над пропастью стояли не одни
и не каменные трогали сердца
монологам от первого лица.

Свет колеблется. Колеблется ли свет?
Ах, волшебница, не в этом ли ответ?
В чашке чая, в чашке кофе по утрам
и в печали неизменных мелодрам?

Ох, не в этом. Нет, не в этом. Все равно,
белым светом, - не тобой заведено.
Друг далекий, друг нечаянный ты мой,
вышли сроки – нынче холодно зимой.

Сны сбываются. Сбываются ли сны?
Птицы каются от лета до весны,
за неделями недели... Милый друг,
а в апреле сердце падает из рук.

Поезда, поезда, бездорожье, распутица,
петербургский холодный туман.
Говорили, что сказка когда-нибудь сбудется,
только ты не давалась в обман.

Собираемся в путь, отправляемся наскоро,
и дорога, как прежде, виясь,
нас приводит к portalу собора Казанского,
где Смоленский покоится князь.

Это было давно. Это нам не наскучило.
Это так повелось искони,
чтобы сердце кидалось от случая к случаю
в те далекие, давние дни.

И родную Москву за победу крылатую
подожгли и спалили дотла,
и шотландцу в России поставили статую
за его боевые дела.

Не затем родились, чтобы жить как положено,
чтобы лгать и не верить опять.
В эти годы ни бога, ни имени божьего
мы не знаем, и глаз не поднять,

не избыть, не забыть, не начать уже сызнава,
разве только что кануть во тьму.
А промозглая ночь все прознала и вызнала,
да не хочет открыть никому.

Спроси у всадника на глыбе,
о чем задумывались мы, -
нас не отталкивала гибель
от первой северной зимы,

лежала мертвенность другая
за безучастностью простой,
своих приверженцев пугая
потусторонней красотой,

не восходящее светило,
а наплывающая мгла,
искала слов – не находила,
найти хотела - не могла.

А мы не ждали, не гадали,
любви не ведали другой,
и только вглядывались в дали
над леденеющей рекой.

Был этот год, как сердце робок,
тоской пожизненной дыша,
и в потолок летящих пробок
твоя не ведала душа,

и жизнь, проведенная в бреднях,
понятных женщине одной,
не находила слов последних
короче брани площадной.

Мне хотелось бы теперь,
воротясь домой с порога,
затворить плотнее дверь
в область пламенного бога

и вложить благую ложь
в незатейливые строки
оттого, что ты живешь
где-то на юго-востоке.

Но, как видим, не сбылась
долгожданная примета,
не вольна над нами власть
наступающего лета,

воротясь в ночную тьму
от задумчивой богини,
не бродить мне одному
переулками глухими.

Колокольный только звон
поплывет по старой Риге,
на рассвете Аполлон
подойдет к своей квадриге

и увидит сквозь туман –
из страны приходит дальней
только птичий караван
или поезд погребальный.

Дни промчались тропой неуказанной,
и осталась от них предо мной
только девочка в кофточке вязаной
на вокзальной платформе ночной.

Когда уже было следить невозможно
за поездом, тонущим в утренней мгле,
и тягость тревоги железнодорожной
осталась лежать на вагонном стекле,

должно быть, подруги тебе рассказали
под пение вьюги в холодном вокзале,
что сгинут с годами и горе и злость,
что это не с нами одними стряслось.

А лампы по-прежнему тускло горели,
не слушая стука вагонных колес,
откуда он, запах увядшей сирени, -
забыл его кто или ветер принес?

В простуженном зале молчали и пели,
как будто знавали меня с колыбели,
о счастье, обещанном в омуте дней,
и снова, и снова, о милой моей.

Прощай! Неужели и вправду навеки,
и глаз не поднимешь, и слов не найдешь,
и бестолку плакать, но трогает веки
знакомое имя бормочущий дождь?

И клонятся плечи легко и покорно,
и тянется песня, навзрыд и не в лад, -
не вместе ли с кровью ты хлещешь из горла,
не зная чужих соловьиных рулад?

Спирidonьевка, Гранатный, Вспольный, -
улицы невыплаканных слез,
я вернулся в город богомольный
и сирень увядшую привез;

я спешил с Московского вокзала
в суету забывчивой Москвы,
чтобы ты о радости узнала
от поникшей, вымокшей листвы.

Только жизнь короткая короче
ожиданья наших похорон,
как гласит встающий среди ночи
свет, зажженный с четырех сторон.

На глухой стене мелькают тени,
и, держа рыдания в горсти,
узнаешь такое отчуждение,
от какого душу не спасти.

Кончен путь. Запутан путь обратный.
Другом был. Становишься врагом.
Кто ответит, где теперь Гранатный
в жизни новой, в городе другом?

Спит Москва. Уснул огромный город.
Окна гаснут в каменных домах.
Спят афиши на чужих заборах.
Лишь сердца готовы жить впотьмах.

В давних снах манили обещанья
предстоящей солнечной весны,
но среди всеобщего молчанья
нас томят несбыточные сны,

и к утру, восстав над пепелищем
благодатным утренним дождем,
мы успокоения не ищем
и отдохновения не ждем.

В этой жизни довольствуйся малым,
уже третью зиму подряд
далеко убегает по шпалам
одинокий задумчивый взгляд.

Мы зовем его попросту нашим,
шумный город, оставшийся там,
и рукой на прощание машем
уходящим на юг поездам.

Посуди – далеко ли до цели?
Ночь в вагоне – и дел-то пустяк!
А глядишь, на чужбине осели
и не сдвинуться с места никак.

Кто к двадцати пяти годам
добрался по чужим следам
без упоенья и отваги,
когда иссякнет листопад,
вдруг раскрывает наугад
свои записки и бумаги.

Бумага морщится и лжет:
и дух не тот, и слог не тот,
и на успех надежды мало.
Да и с чего на ум взбрело
пытать чужое ремесло?
Чего тебе не достало?

Мы научаемся с тобой
дружить с довольными судьбой,
судьбой довольствуемся сами,
и начинаем новый год
жестоких будничных забот,
протясь с былыми чудесами.

Зачем же стали мы опять
тетради прежние листать?
Нелюбопытны и ленивы
внимаем горестям чужим
и все-то жизнью дорожим,
как будто в самом деле живы.

Пора, привыкшая к наградам,
которых даром не отдашь,
обыкновенным листопадом
преображает город наш.

Глядишь, как лик его бескровен,
как он терзается виной,
и замечать не хочешь бревен,
прибитых к берегу волной.

Все начинается с начала,
с тоски, с покорности, с молвы,
и волны плещут у причала,
касясь высохшей травы.

А мы, стремясь глядеть с изнанки
и видеть вещи без прикрас,
глядим, как лодки по Фонтанке
прошли в Неву в последний раз.

И перед тем, как на полгода
принять зимы холодный гнет,
вдруг установится погода
и летом огненным дохнет.

Простясь на рассвете с обычным ночлегом,
еще мы не сходим с ума,
синеющим инеем, слипшимся снегом,
зима одевает дома,

слабеющей осени пышные знаки
она попирает пятой,
и кажется, будто не в силах Исакий
свой купол держать золотой.

Сегодня мы с вами, сегодня мы дома,
а завтра бог знает, где мы,
но с раннего детства была нам знакома
тяжелая поступь зимы.

Она начинается в самом начале,
кончается в самом конце,
и, может быть, мы пожимаем плечами,
но не изменяясь в лице.

Опять говорят, что она разрешила
метели на тысячи верст,
среди белого дня застревает машина
при въезде на Троицкий мост.

А мы на морозе по-прежнему стынем,
всю зиму живем как во сне,
но прежнего смысла не ищем отныне
в ее снеговой белизне.

Я живу совсем один
в этом городе чужом,
мы встречаться не хотим,
но себя не бережем,

и гляжу кому-то вслед
в растворенное окно
оттого, что писем нет
от тебя уже давно.

Ты, должно быть, вновь права,
да признаться в этом лень,
лучше – руки в рукава,
лучше – шапку набекрень,

и забросив на ночь дом,
постояв, где дремлют львы,
независимо пойдём
вдоль поднявшейся Невы.

А ручьи, замедлив бег,
тают будто бы в руках,
и лежит последний снег
на гранитных берегах.

Только талая вода
старых писем не хранит
и ведёт меня туда,
где кончается гранит.

Когда гляжу с Тучкова моста,
как тихо плещется вода,
не верю сам, что будет просто
здесь поселиться навсегда,

не верю сам, что мы могли бы,
пускай не я – любой из нас,
врасти в прибрежные изгибы,
хотя бы видел их сто раз.

Нет, только так, - не ночью белой,
но в этих сумерках густых,
как будто кто рукой несмелой
наметил берег и притих.

Такой премудрости немудрой
мы сопричастны только здесь,
когда домой вернемся утром,
да и вернемся ли, бог весть.

Столь непреложна в Ленинграде
хрестоматийная краса,
что не торопятся в тетради
совсем другие голоса.

Но на рассвете слишком раннем
ты знаешь, сердца не тая,
что с бессловесным бормотаньем
душа не справится твоя.

Я кланяюсь белым колоннам,
не споря с банальной судьбой,
но, не притворяясь влюбленным,
я все же лукавлю с тобой.

Мы оба заранее знали, -
а если не знали, прости, -
что хрупкие звуки рояля
от смерти не могут спасти.

И все-таки снова и снова
мы в тихий вторгаемся дом,
в осеннюю пору иного
мы места себе не найдем.

Но публике кланяясь низко,
устав от забот и труда,
не станет гадать пианистка,
зачем мы приходим туда.

В этом городе пустынном,
от весенних прячась вьюг,
я не милым балеринам
посвящаю свой досуг,

вдоль заглохшего канала,
не слоняюсь до зари,
не робею, как бывало,
перед Жанной Самари.

Ах, не в пышном Эрмитаже
ты запутался, чужак!
Но не спрашиваешь даже,
отчего случилось так.

Мы попадаем не впервые
порой осенней в край озерный,
где над водой прозрачно-черной
вздыхают сосны вековые.

И здешний быт и здешний климат
во всех подробностях мы знаем:
с утра дожди над скудным краем,
а ночью птицы крик подымут.

Пускай у нас достанет духа
в окошко выглянуть без гнева,
пускай опять достигнут слуха
обрывки странного напева,

пускай умрут с рассветом ранним
и в поздний час начнут сначала, -
ведь мы расспрашивать не станем,
что эта песня означала.

Закрывают клубы пара
семафора зоркий глаз,
поезд на Элисенваара
пролетает мимо нас,

и следишь за ним, покамест,
не жива и не мертва,
замерла под сапогами
пожелтевшая листва.

Ну, и что же, ну, и что же,
что опять промчался год,
что не станешь ты моложе,
что конец тебе придет,

если ветер с прежней силой
рвет и гонит облака,
заглушая звук унылый
паровозного гудка.

О, если можешь, откажись
от лавров и порфир!
По-русски Зоя – значит: жизнь,
Ирина – значит: мир.

Не нами избранных имен
лежит на нас печать,
хоть нареченное с пелен
что может означать?

Вот я и силюсь побороть
тоску пустого дня,
и отвечаю: здесь господь,
когда зовут меня.

Причуды Терпсихоры

1951 - 1952

Простая девушка и лебедь,
легко плывущий по волнам,
давно я знал тебя на небе,
откуда ты приходишь к нам.

Толпа слепая рукоплещет
земному сердцу твоему,
оно, счастливое, трепещет,
и доверяешься ему.

Я понимаю, что недаром
твой начинается полет,
теперь конец настанет чарам,
освободитель твой придет.

Еще не веруя надежде,
к нему склоняешься скорбя,
и я, невидимый, как прежде
опять волнуясь за тебя.

Я долго жду в огромном зале
пока окончатся хлопки,
пускай друг друга мы не знали
и прежде не были близки,

в судьбе, назначенной не нами,
ты, незнакомая со мной,
своими белыми крылами
мне заслонила мир земной.

В шумный город возле моря
ты приехала одна,
и с обычаем не споря,
ты плясать опять должна,

и мужчины, молча внемля
зову пламенной души,
как один, втыкают в землю
двусторонние ножи,

и опять невозмутимо,
подавив минутный гнев,
ты должна промчаться мимо,
их ни разу не задев,

чтобы только не скучала
ни одна душа в толпе,
словно жизнь начать сначала
нынче выпало тебе.

В этом пасмурном июне
только нам с тобой двоим
счастье уличной плясуньи
счастьем кажется своим,

и ночной ввераясь пляске
в шумном городе твоём,
мы нечаянной огласке
тайны сердца предаём.

В конце безвыходного лета
стоит в партере духота,
и посетители балета
спешат занять свои места,

жилиц небесной полусферы
судьба загнала в душный храм,
но их морские офицеры
в подъезде ждут по вечерам.

Пусть я не жду после спектакля
их появления у дверей,
чтобы, как водится – не так ли? –
их образумить поскорей,

но не гадая, что на небе,
хоть не довольствуясь судьбой,
я не могу забыть, как лебедь
меня манила за собой.

Она медлительное тело
клоня к прибрежному песку,
казалось, выронить хотела
свою давнишнюю тоску.

Увековечить это в камне
я, вероятно, бы не смог,
но, видит бог, она была мне
дороже выворотных ног.

Нам срок приходит неизменный,
когда озерный тает лед
и обрывается над сценой
души подстреленной полет.

Ну, что ж, простите бога ради,
что мы об этом говорим,
не провожая на ночь глядя
уставших за день балерин.

Я никому не рассказал,
как давешней зимой
меня в огромный этот зал
привел приятель мой.

И был он парень не простой,
удачлив был, как бог,
навек пронзенный красотой
воздетых женских ног.

А мне-то думалось тогда,
в далекий вечер тот,
что долу клонит их беда,
которая гнетет,

и хороши, не хороши, -
я только знать хотел,
что за движения души
живут в движеньях тел,

и наводило даже страх
склоненье робких плеч,
и на подмазанных губах
жила прямая речь...

И я глядел, глядел во тьму,
ловя забытый след...
Не удивляйся же тому,
что я хожу в балет.

Опять, бог весь уже в который
с тобой встречаемся мы раз,
опять пустые коридоры
внезапно сталкивают нас,

ты улыбнешься – я отвечу.
я улыбнусь – ответишь ты,
вот я шагну тебе навстречу,
но не нарушу немоты,

я не пойму – движенья эти
опять случайность или знак,
не знаю, служишь ты в балете
или приходишь просто так,

но даже зная все заране,
я не могу себя сберечь
теперь уже от ожиданья
случайных этих наших встреч.

Я выхожу на берег невский,
не находя тебя нигде,
хочу о театральном блеске
сказать забывчивой воде,

как будто ветра дуновенье,
пустой реки волнуя гладь,
должно навек продлить мгновенье,
когда мы встретимся опять.

Сейчас чумазая принцесса,
приняв дары ночного леса,
поедет ради интереса
на костюмированный бал,
ее измучила немилость,
но как бы мачеха ни злилась,
а так оно уж получилось,
что принц ее облюбовал.

Не счастье Золушки и принца,
не то, что мы, как говорится,
могли бы выспаться, побриться,
поесть и не сходить с ума, -
пусть ты еще не в этой роли,
пусть ты была недавно в школе,
ты – балерина, поневоле
ты, значит, - Золушка сама.

Вся жизнь проходит на пуантах,
ты вечно в лентах или в бантах,
не будем спорить о талантах, -
они не греют в холода;
о чем ни спросят – мы ответим,
в нас камень бросят – мы заметим,
когда ты счастлива, за этим
не видно вечного труда.

Прикроет пышная кулиса
дневную тяжесть экзерсиса,
пускай не ведает актриса
о жизни каторжной моей, -
она живет на свете, чтобы
мы были счастливы, мы оба,
за это, кажется, до гроба
я благодарен буду ей.

Сфинкс из древних Фив в Египте
перевезен в град Петра...
Мне пришлось из дому выйти
поздно вечером вчера,

страж поникшего величья
предо мной во тьме возник,
и тупое безразличье
выдавал щербатый лик,

в далеке теряясь дальнем,
он остался глух и нем,
и в подъезде театральном
я забыл о нем совсем.

Но до смерти не забуду,
как вошел в старинный зал,
и сперва поверил чуду,
и все дальше погрязал.

Наша память – долгий ящик,
хоть ручаться не могу,
что сильнее она лежащих
на гранитном берегу.

Кто подумал бы, что вскоре
что-то выужу всерьез
в механическом повторе
потерявших прелесть поз,

а потом не то, что свыкся,
а, пожалуй, просто влип,
пожелав загадку сфинкса
разгадать, как царь Эдип.

Когда волнуется Психея,
врываясь вечером во тьму,
сказать открыто не умея,
тревожить древности к чему?

Зачем лукавить на пороге
и уверять, что весь в пыли,
как будто греческие боги
одни безумствовать могли?

Когда зовет меня вакханка,
по сцене медленно кружа,
бог весть, видна ли ей изнанка
того, чем держится душа,

но, возвращаясь ночью к богу,
из царства утренних теней,
свою внезапную тревогу
я разделяю только с ней.

Кленовый лист, рябины кисть
на глади снеговой.
Не удивляйся – улыбнись,
ведь час не пробил твой.

Играют вальс, старинный вальс,
и все же неспроста
ты различишь, остановясь,
осенние цвета.

А я не буду удивлен,
тебя встречая здесь.
Знакомый клен, зеленый клен,
развеял все, как есть,

и листья, как цветы огня,
горят в твоём окне.
Но ты танцуешь без меня,
не зная обо мне.

Если слушать не хотим
скучный птичий гомон,
повидаемся с одним
скульптором знакомым,

но, увы, счастливый миг
выпадает редко:
много ходит вас таких, -
отошьет соседка.

Мы попрячемся во тьму
с упованьем новым,
кто не видел нас, тому
не расскажешь словом,

только женщина одна
выживет, отважась
променять свой танец на
бронзовую тяжесть.

Мы - туземцы на земле,
Нам тут все знакомо:
дом, забор, фонарь во мгле,
дворник возле дома,

ничего иного нет
и в неодолимой
скоротечности - поэт
сходен с балериной.

Наступленье тишины
не сулит ответа,
почему мы жизнь должны
отдавать за это,

почему, не пряча глаз,
выжить не могли мы?
Или бог такими нас
вылепил из глины?

Кто здесь окажет милость
поэту одному?
И с ним ты обручилась,
чтоб жизнь спасти ему.

Пустым не веря фразам,
он верует душой,
что этим он обязан
любви твоей большой.

И пусть, приняв на веру
какую-нибудь ложь,
красавцу-офицеру
ты сердце отдаешь,

он входит в зал дворцовый,
твой шуточный жених,
как ты его, готовый
спасти тебя от них.

Не с каждым ли поэтом
однажды было так,
и помнит он об этом
весь век потом, чудак,

и ты, незримой тенью
стремя к нему полет,
ведешь его к спасенью,
где он его не ждет.

Рвутся струны на бедной гитаре,
гости званые тешатся всласть.
Ты сегодня, должно быть, в ударе,
что учить меня танцу взялась.

Только телу бы надобен гений,
чтобы сходу освоить балет,-
не довольно одних наставлений,
а еще и способностей нет.

Но зато, говоря без утайки,
над пустыней взлетала душа,
если девочек робкие стайки
пробегали по сцене спеша,

если полосы легкого тюля
не ушли из доверчивых рук,
от испуга ли птицы вспорхнули
или счастье увидели вдруг.

А когда я домой приезжаю,
записать не считаю за труд,
что не требует муза чужая
от меня мимолетных причуд.

Совершая обряд неизменный,
ты горишь, не сгорая в огне,
и летишь, как впервые, над сценой,
возвращая дыхание мне.

Цветастый падает покров,
не будем прятать лица,
ведь каждый смолоду готов
бестрепетно сразиться,

а чтобы враг изведал страх,
изобразим на латах
драконов с пламенем в ноздрях,
клыкастых и крылатых.

Когда отважный весельчак
не в силах отмолчаться,
его уносят на плечах
друзья и домочадцы,

мы слишком рано узнаем,
зачем живем на свете,
но, забывая о своем,
проводим дни в балете.

Ну, что ж, не мы, пускай не мы,
и впрямь не мы одни ведь
вдруг целый мир среди зимы
беремся осчастливить.

Но отчего по вечерам
мы только прячем лица,
когда летит навстречу нам
простая танцовщица?

Кому случилось быть в пустой
скульптурной мастерской
и весь уют ее простой
рассматривать с тоской,

всегда найти сумеет там
утраченную нить,
и комя глины по углам
не смогут с толку сбить.

Здесь балерина, и поэт
и даже скульптор сам
от верных прячутся примет
и верят чудесам.

Но позовут ли нас в Эдем,
развеют ли во мгле,
мы были счастливы и тем,
что жили на земле.

Когда, смятением объятый,
восторг свой выказать спеша,
отметить счастлив завсегда,
что балерина хороша,

я говорю: таков обычай,
и понимаю в этот час,
что чистоты ее девичьей
никто не требует от нас.

И быстрый взор скользит по ломам
еще безвестных балерин,
и сами в толк мы взять не можем
за что мы их благодарим,

благодарим за то, что сами
концу не верим своему,
за то, что лебедь бьет крылами,
когда спасенья нет ему.

День в бесплодных разговорах
прокрутился и исчез.
Я бы мог сказать, что город
на большой походит лес,

но, завидев амазонок
одичалую красу,
я теряюсь, как ребенок,
в этом каменном лесу.

Между тем, уходят годы,
а они, легко понять,
возвращаются с охоты,
собираются опять.

Наши вздохи и подарки
им, конечно, не нужны,
отчего ж они, дикарки,
так лукавы и нежны?

Все проходит, остается
камня белого кусок,
и пускай не будет сходства,
лишь бы камень был высок.

Говорят, что там, где тонко,
там и рвется жизни нить,
но хотела амазонка
и от смерти защитить.

Простите мне слова простые эти,
я три недели не бывал в балете,
и вот сегодня, вырвавшись с трудом,
опять вхожу в давно знакомый дом,
где капельдинер в суматошном зале
меня окликнет: где вы пропадали?

Второй звонок. Часы мои верны.
Партер и ложи, как всегда полны.
Скупые дамы пышно разодеты,
невольно я гляжу на туалеты,
но гаснет свет. Всплывает дирижер.
Смычки взлетели. Занавес пошел.

Вот Померанцева, Петрова, Исакова,
Кургапкина, Смирнова, Колпакова, -
классического таинства удел
их нынче одинаково одел,
но и в тряпье, равно как в шумной пене,
я узнаю их, каждую, на сцене.

Откуда голос в памяти возник,
что я слежу за ними, как двойник?
Что мне до них? Какой придумал гений
одеть их в ткань заученных движений,
и Терпсихора, младшая из муз,
с какой сестрой вступает здесь в союз?

Наш мир лежит за первым рядом кресел,
он стар и глух, он счастлив молод, весел,
он отдает нам то, чем он богат,
чтоб в сонном царстве фавнов и наяд
мы были живы. Как свести мне это
к манерным позам старого балета?

И все равно, когда сквозь гордый строй
тебя зовет нескладный твой герой
и, как душа, преград не знает тело,
я слышу, что ты мне сказать хотела,
и, кажется, немудрено понять,
что завтра я приду сюда опять.

На ночь глядя открываю
припасенную давно.
Друг мой давний, выпьем, что ли?
Мы к последнему трамваю
опоздали все равно.
Выпьем, что ли, напоследок,
и пустых не надо слез.
Сам увидишь поневоле,
что в полуночных беседах
снег нам счастья не принес.
Все равно, гадать не надо,
сядем, выпьем, как пришлось.
Если б мир наш был так ясен,
как дыханье винограда,
тихий голос горьких лоз.
Но за далью, за туманом,
крепко спит морской простор.
Как известно, мир прекрасен,
и не нам, балетоманам,
заводить об этом спор.
И когда сквозь кольца вьюги
пробивается герой,
и спешит убраться челядь,
и вальсируют подруги,
и принцесса входит в роль,
я покорно внемлю плеску
молодых проворных рук, -
и хотелось бы не верить,
а простому арабеску
как ребенок веришь вдруг.
Друг мой, что же, неужели
так и жизнь проходит вся?
Счастлив ты или печален,
но течет она без цели,

а вернуть ее нельзя.
И пока мы живы вроде,
лучше выпьем-ка давай!
Ведь уже мы различаем,
что звенит на повороте
первый утренний трамвай.

Завели, замели, закружили,
занавесили снегом окно.
Мы встречаемся вновь, как чужие,
хоть как будто знакомы давно.

Без любви, без надежды, без веры,
но являя довольства пример,
посетители каждой премьеры,
мы плывем в бенуар и партер.

А над сценой, в дремоте лежащей,
твой незаблемый голос разлит,
пробужденье красавицы спящей
примиренье и радость сулит,

и хотелось бы знать у предела
сонных дней и бессонных ночей
это скрипка скрипела и пела
или плакала виолончель.

Нет, не музыкой, памятной с детства,
не сюжетом, знакомым из книг...
Мы могли бы на них наглядеться,
но забыть мы не можем о них,

мы не можем довериться другу,
отозваться тому, кто зовет,
а хождение в антракте по кругу
от земных не спасает забот.

И у двери притихшего зала
я стою еще долго, как тень,
чтобы добрая фея узнала,
что цветет на морозе сирень.

Но молчит моя муза немая,
чтобы не было новой беды,
и руками снежок подымая
за собой замечает следы.

Весна, и льет, как из ведра,
льет, хлещет, бьет по крыше,
выходишь из дому с утра
и смотришь на афиши,

и если солнце прячет дождь,
явившийся с рассветом,
приметы лета узнаешь
по утренним газетам.

А на ночь глядя, как всегда,
битком набьются ложи,
и можно видеть без труда,
что мы с тобой похожи,

пусть не успел, не досказал
каких-то слов напрасных,
и в полумрак уходит зал,
и молча люстры гаснут.

Но выходя из темноты
навстречу новым войнам,
я даже рад тому, что ты
сочла меня спокойным,

я рад тому, что ты права,
что без надежды тайной,
растет зеленая трава
на линии трамвайной.

СОДЕРЖАНИЕ

На ночь глядя 1945 – 1946

Как я ни бойко иду	4
Люблю, если так нам с тобой довелось.....	5
Дух ликующей весны	6
Живу в захолустье	7
Зрочки зеленых глаз твоих	8
Ты молитву едва прошептала	9
Позабуду все на свете	10
Не разберу, какая сила	11
Концерт Обуховой	12
Глотая люминал.....	13
Коли хочешь быть пророком.....	14
Спать, и спать, и спать... ..	15
Когда разбитые сердца	16
Мне подарили книгу в переводе.....	17
Безысходная тоска	19
Никто не скажет ничего	20
Если теплятся огни	21
Не проведали заранее	23
Пролетают дни.....	24
Коль скоро лютая зима.....	25
Я не ищу ни друга, ни врага.....	25
Я устал от горьких истин	27
Пока троллейбус двухэтажный.....	28
Хотите – верьте, нет – не верьте	30
Лишь потому и смертна плоть	32
В Политехническом музее	33
Когда замкнется круг старинный	34
Целый вечер снег идет.....	35
Отчего в холодном зале.....	36
Когда венчание начнут	38

Бабье лето 1947

Когда ты хлопаешь дверьми.....	40
Засыпаю на заре.....	41
Вокзальная площадь.....	42
Протяну на белом свете.....	43
Бывает так, что по утрам.....	44
Проходят годы.....	45
Бабье лето.....	46
Когда я перестану сторониться.....	47
Неужели в минуту разлуки.....	49
Когда набегающий ветер.....	50
Видит бог, не моя это вовсе вина.....	51
Какими судьбами.....	52
А ты бы жизнь вдохнул в рояль.....	53
Если выхлебаю душу.....	54
Ты стал ходить вокруг да около.....	55
Перестань сутулиться.....	56
Когда в безмерной дальности.....	57
Я родился задолго до поры.....	58
Ты потеряла благодать.....	59
Говорят, что четверть века.....	60
Есть ненависть.....	61
Девчонка приняла отраву.....	62
Нынче с пригородной дачи.....	63
Сочтено за тягчайший грех.....	64
Я убежать бываю рад.....	65
Редют птичьи вереницы.....	66
День скользит в оконной раме.....	67
Однажды, льстясь дать верх порядку.....	69

Ни слова вслух 1948

Не подымеешь вдруг лица.....	72
Ты стоишь с печальной миной.....	73
Куда ж я денусь.....	74

Если влажностью усталой	75
Вот и осень на исходе	76
Приходит утренняя почта.....	77
Она была слепая балерина	78
Ты наперед решил не верить	79
Если что-нибудь получится.....	80
Когда придут в противоречье	81
Доживем ли до прихода	82
Отсыпаюсь в воскресенье	83
Чуть подрагивают ветви.....	84
Когда слова нехороши.....	85
Стучат часы, стучат колеса	86
Ты научился жить, как все	87
Чем хороши, скажи на милость	88
Услышишь музыку в ночи	89
Надежды нет, и ждать не надо	90
С годами отойдут напрасные приметы.....	91
Я твой, смоленая головка	92
Алеет за окном вечерняя заря	93
Поэт, ступай своей дорогой	94

Троянская война 1948 – 1949

Не томи, не мучь, не требуй	96
Предвестник слез	98
Почтальон.....	100
Прежде, чем явится бездна бездонная	102
Сообразив, что светлым раем.....	103
Перед отходом в дальний путь	104
Промелькнула тень в окне	105
Уехать, уехать бог знает куда.....	106
Кто-то умер, кто-то вышел	107
Ты слушаешь меня?	108
Мы увидимся не скоро.....	110
Опять налево по Мясницкой.....	111
Вода ломает колкий лед	112

Опять туман и слякоть	113
Человеческое море	114
Все прошло, пролетело, промчалось	115
Кабы в нашей было власти.....	116
Весь день мело	117
Нас отличает от других	118
Своей судьбе наперекор.....	119
Нам снятся сны, чужие сны	120
На все стороны света.....	122
Природа таинства распорота	124
Поэт уйдет полузабытым	125
С чего бы опять.....	126
Не потерял ли ты терпенье	128
Вспоминается мне	129
Не знаю, кстати ли, не кстати ль	130
Мне хотелось бы знать.....	132
Картина, кажется, давно тебе знакома	133
Войти, ступать нельзя неслышной.....	135
Передо мной морская гладь	136

Где кончается гранит 1949 – 1952

Нет, не впервые нынче здесь	138
Когда после долгой разлуки	139
Кто-то зашевелится в листве.....	140
Осень на дворе	141
Не слишком я верю, что греческий бог	142
Прихожу сюда с поклоном	143
Сызмальства живя на исходе	144
Сны сбываются	145
Поезда, поезда, бездорожье, распутица	146
Спроси у всадника на глыбе	147
Мне хотелось бы теперь	148
Дни промчались тропой неуказанной	149
Когда уже было следить невозможно	150

Спиридоньевка, Гранатный, Вспольный	151
В этой жизни довольствуйся малым	153
Кто к двадцати пяти годам	154
Пора, привыкшая к наградам.....	155
Простаясь на рассвете с обычным ночлегом	156
Я живу совсем один	158
Когда гляжу с Тучкова моста	159
Я кланяюсь белым колоннам.....	160
В этом городе пустынном.....	161
Мы попадаем не впервые	162
Закрывают клубы пара	163
О, если можешь, откажись	164

Причуды Терпсихоры 1951 – 1952

Простая девушка и лебедь	166
В шумный город возле моря.....	167
В конце безвыходного лета	168
Я никому не рассказал	170
Опять, бог весть уже в который.....	171
Сейчас чумазая принцесса	172
Сфинкс из древних Фив в Египте	173
Когда волнуется Психея.....	174
Кленовый лист	175
Если слушать не хотим	176
Кто здесь окажет милость	178
Рвутся струны на бедной гитаре	179
Цветастый падает покров	180
Кому случилось быть в пустой	181
Когда смятением объятый	182
День в бесплодных разговорах	183
Простите мне слова простые эти	184
На ночь глядя открываю	186
Завели, замели, закружили.....	188
Весна, и льет, как из ведра	190

Подписано в печать 05.08.2013 г.
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать лазерная.
Усл. печ. л. 11,4. Тираж 50 экз.
Заказ № 2766
Отпечатано в ООО «Издательство "ЛЕМА"»
191014, Россия, Санкт-Петербург,
Ул. Жуковского, д. 41, тел./факс: 401 01 74
e-mail : izd_lemma4l@mail.ru
<http://www.lemaprint.ru>